ДНИ НА МОЕЙ РОДИНЕ:

крымские рассказы



Елена Яблонская

Елена Яблонская

Дни на моей родине. Крымские рассказы

«У Никитских ворот»

2026

УДК 82-3
ББК 84 (2Рос=Рус) 6.4

Яблонская Е. Е.

Дни на моей родине. Крымские рассказы / Е. Е. Яблонская — «У Никитских ворот», 2026

ISBN 978-5-00246-755-6

В новую книгу Елены Яблонской «Дни на моей родине: крымские рассказы» вошли произведения о малой родине автора, написанные в период с 2007 по 2026 гг. и посвященные воссоединению Крыма с Россией – торжеству человеческой и исторической справедливости. Читатель увидит Крым шестидесятых и семидесятых годов прошлого века, печальный Крым перестроечного и украинского периодов и, наконец, ликующий счастливый русский Крым, воссоединившийся со своей Родиной. По словам писателя Андрея Воронцова, книга убедительно свидетельствует о том, что Крым лишь формально был в течение некоторого времени заграницей для русских людей: «Крым Елены Яблонской – образ потерянной и неотъемлемой части России, чудесным образом снова вернувшейся к нам… Крым – это не просто территория, пусть даже очень хорошая, это – сакральная территория». Книга рассчитана на широкий круг читателей.

УДК 82-3
ББК 84 (2Рос=Рус) 6.4

ISBN 978-5-00246-755-6

© Яблонская Е. Е., 2026
© У Никитских ворот, 2026

Содержание

Город мой – Ялта 6
Дом Ханжонкова 6
Третий ёж 16
Детство, которого не было 20
С перевалов Гиндукуша 28
Наша бабушка лучше 32
Сталинские соколы 40
Конец ознакомительного фрагмента. 53

Елена Яблонская
Дни на моей родине: крымские рассказы

Повести, рассказы, эссе



В оформлении обложки использованы фрагменты картин Судковского Р.Г. «Берег Чёрного моря» и Коровина К.А. «На берегу Чёрного моря»

у никитских ворот

© Яблонская Е.Е., 2026
© Оформление. Издательство «У Никитских ворот», 2026

Город мой – Ялта

Город мой – Ялта



Дом Ханжонкова

Б.М. Арсеньеву

Город, в котором я родилась в доме дореволюционной постройки с лепными вазами, ионическими колоннами и надписью над венецианским окном «Городской родильный домъ имени П.Ф. Соболева…» Город, в котором я выросла на улице Чехова, бывшей Виноградной… В двухэтажном доме начала двадцатого века, в котором получил квартиру мой дед, приехавший из Киева в тридцать седьмом году для работы в Институте виноделия и виноградарства… Город, где до сих пор живёт моя мама и где уже выросли дети моих одноклассников… Город этот… Нет, я не буду утверждать, что он лучший на Земле. Но город мой не похож ни на один другой город мира, у него особенное, неповторимое, мгновенно узнаваемое лицо. С этим-то вы не поспорите. Где бы ни спросили меня, откуда я родом, и я, нарочно помедлив, небрежно бросала-выдыхала короткое имя моего города, то всегда обязательно раздавался восторженный вопль: «О-о-о!» И я знаю, что у воскликнувшего «О-о-о!», так же как у меня, немедленно возникает перед глазами единственная в мире набережная и чёткий силуэт уходящего в море мыса, грузный и точный полёт белогрудых птиц, и огромные старые платаны, и чаша пепельно-сиреневых гор, и розовая с золотом часовня на холме… На том самом Поликуровском холме, который после шторма увидели греческие мореходы и радостно закричали: «Ялос! Берег!» Вот я и назвала имя моего города, а вы уже, наверное, его угадали, и я могу, как избежавшие кораблекрушения античные греки, счастливо выдохнуть: «Ялта!»

Я нимало не удивлялась, когда с конца восьмидесятых годов по приезде в родной город меня встречали плакаты на здании библиотеки имени Чехова, извещавшие о «днях Ханжонкова в Ялте». Ну и что, и у нас в Москве на площади Маяковского имеется «Дом Ханжонкова». Кино мало интересовало меня, с детства было чем-то будничным, хотя и приятным, звуки его через день доносились с летней площадки санатория «Киев», что напротив нашего дома. Сколько фильмов снималось у нас! А помните, в «Джентльменах удачи» герой Крамарова говорит: «…и в Ялту!»? Мы как раз были классе в пятом, и после этой фразы кинотеатр «Сатурн» непременно оглашался радостным ржанием. А сам Крамаров приходил в гости к нашей соседке тёте Гале, она работала фотографом на круизных теплоходах… Школа наша,

расположенная рядом с Ялтинской киностудией, была непрерывно посещаема среднего возраста тётеньками, какими-нибудь помрежами. Школьников набирали для участия в массовках. А я в четвёртом классе даже удостоилась приглашения на роль в фильме «Тренер», но проигнорировала уговоры киношной тётки – очевидно, у меня были тогда дела поважней. Кстати, когда теперь, спустя тридцать лет, я называю ялтинцам номер нашей школы, тоже раздается уважительное «О-о-о!» А со старых фотографий смотрят на меня мои одноклассники – неповторимые, незабываемые рожицы: вот мы в первом классе, в четвертом, в восьмом и наконец – затаив дыхание, – в десятом… Кое-кого нет в живых, но уж те, кто живы, поверьте, не изменились. Просто наконец добравшиеся до нас гримёры с киностудии зачем-то раскрасили юные лица тусклым гримом, натянули на головы седоватые парики, а из глаз, из души смотрят те же смеющиеся Наташка, Толик, Маня, Мишка, Володя… Голубые весёлые глаза Наташки, серые и упрямые – Мишки Пестерева, хитро-зелёные – когда-то рыжей Мани, Маринки Заборской, огромные даже без дальнозорких очков и жёлтые как у совы – Толика Волкова и глубоко посаженные, не разберёшь какого цвета – Володьки… Мы, одноклассники, кто нашёлся, приехали к Наташке Сумовой, Сумке, в Алупку.

С Сумкой мы дружим с шестого класса. Я помню, как это начиналось. В сентябре нас водили на физкультуру на лодочную станцию. Мы с Наташкой были освобождены и гуляли в Приморском парке. Вижу, как Сумка задумчиво тянет вдоль берега бассейна – макета Чёрного моря – стащенный с шеи пионерский галстук. Мы о чём-то рассуждаем, бредём в районе Констанцы…

– Как ты помнишь?! – изумляется Сумка. – А я этого не помню!

Что ж, это нормально. Наташка помнит много такого, чего не удержала моя память. Каждый из нас несёт по жизни драгоценную россыпь этих кусочков, ярких разноцветных камешков, спрятав их где-то там, за пазухой, у сердца, а сейчас мы вываливаем всё это на деревянный стол в Сумкиной кипарисовой беседке. Стол и без того щедро заставлен картонными пакетами с «Каберне», персиками, виноградом и ворохом наших школьных, чёрно-белых фотографий. Я смотрю в голубые Наташкины глаза и с радостью вижу вокруг зрачков желтоватые пятнышки. Я помню их! Помню с шестого класса!

– А ты знала, что я в девятом классе была влюблена в Толика, как и все наши девчонки? – обращаюсь я к Наташе.

– Ещё бы! – отзывается она, а Пестер и сам Толик смотрят с сомнением.

– Не надо, – говорит Маня, – Лариска Кропачёва была влюблена в Таджика.

Таджик, Володька Тужиков, безучастно попивает зелёный чай. Он совершенный англичанин и джентльмен, всегда собран, невозмутим, не пьёт, не курит, играет в теннис…

– Да, – вспоминаю я, – и Леночка Энгельгардт, кажется, тоже в Таджика… А кто же ещё в Толика? Наверно, только я, а мне казалось, что весь класс…

Ребята смеются. Я не буду им говорить, что вообще-то Толик Волкин – моя вторая любовь. Прозвище его – Волкин или даже Тоневолкин («то-не-Волкин», то был не Волкин) – явилось, видимо, результатом какой-то подзабытой истории. Зато я помню другую историю, весьма характерную для Волкина. Восьмой класс, математика.

– Волков, к доске!

Тоневолкин нехотя подымается:

– Я не учил!

– Толя! – всплёскивает руками Лидия Васильевна, – Что ты не учил?!

– Ничего!

– ???

– Ну, что вы задавали…

– Толя! Я ничего не задавала!

– Всё равно не учил. Ставьте «два», Лидия Васильевна, – басит Тоневолкин, дружелюбно глядя на учительницу.

– Иди к доске, пиши условие…

Задача не из лёгких решена за минуту.

– Толя, садись. Пять!

Волкин, пожимая плечами, недовольно лезет за свой стол, на криво улыбающейся физиономии и даже, кажется, в оттопыренных ушах – выражение оскорблённого достоинства.

Кто моя первая любовь? Копия микеланджеловского Давида в Пушкинском музее. В первый раз я приехала в Москву после восьмого класса по маминой учительской путёвке и сразу влюбилась в обоих – в Москву и в Давида. Нет, куда там мраморному изваянию до нашего Толика – ялтинского парня, ласточкой слетавшего в море с пятиметровой высоты солярия… Я влюбилась только в выражение лица этого мальчишки, моего ровесника и будущего царя иудейского. В его лёгкую, счастливую, чуть надменную улыбку юности. А голова старого глупого Голиафа у ног – так, пустяшный, не стоящий упоминания эпизод, уже из прошлого. Вот дальше, в будущем будет настоящее, будет счастье…

Счастья в нашей жизни было много. Помнится, нас заставляли писать сочинения на довольно дурацкую тему «Что такое счастье». И фильмы об этом снимали… «Счастье – это когда тебя понимают» и всё такое прочее… Ну, вы сами знаете… Тема-то идиотская, и мы, не желая выдавать сокровенного, отделывались какими-то штампами. Но если бы не эти сочинения, разве запомнили бы мы на всю жизнь сине-зелёную полудённую воду и жар от каменного пирса на полудиком тогда пляже, именуемом «батареей»? И то, как мы серьёзно и вдохновенно обдирали друг у друга сгоревшую кожу с лупящихся носов, чрезвычайно напоминая макак, ищущих друг у друга насекомых… А ещё мы целыми днями шлёпали по горячим камням или доскам солярия просоленными от внезапно набежавшей волны и иногда роняемыми в море картами, играли в «дурака» и «кинга», умудряясь одновременно рассуждать о смысле жизни… Мальчишки с воплем «Головоногого!» сигали с солярия в воду, и солнце жарило во все лопатки… А я думала: «Вот, запомни – это и есть счастье!» Счастье было разлито в упоительном крымском воздухе и оглушительном звоне цикад, в шуршании высохших колючих трав на сбегающих с обрыва, розово-загорелых как мы тропинках… В прозрачных зеленоватых виноградинах, свисающих с жердей на холмах за «батареей…» В белом сухом вине, которое мы начали пить, возможно, рановато, класса с седьмого, а по мне – так в самый раз. Похоже, примерно так же считали наши родители – медики, строители, учителя, виноделы…

Помню, была традиция – в августе ездили на целый день купаться за Симеиз, в Голубой Залив. И хотя вели мы себя довольно смирно, мероприятие почему-то называлось «поехать на дебош». Может быть, потому что в Голубом Заливе, ближе к посёлку Кацивели, работал профилакторий для алкоголиков и это, конечно, вызывало много веселья. Закупали «Ркацители», великолепную, почему-то почти исчезнувшую теперь воду «Ялтинскую», баклажанную икру в железных банках, конечно, хлеб, помидоры… Основной едой были мидии, а главной их добытчицей – Наташка Сумова, жившая в Алупке и потому нырявшая не то что бы лучше, а как-то привычнее нас, ялтинских. Я-то вообще не умела дышать через трубку (до сих пор не умею!) и стояла посреди моря на камне с полиэтиленовым пакетом в руках. Наташка выныривала с пригоршнями мидий, распластывала выгоревшие соломенные волосы по изумрудной прозрачной глади… Выгружая в пакет обросшие бурыми водорослями раковины, похожие на сомкнутые русалочьи очи, не забывала попрекнуть меня, показывая обломанный накрашенный ноготь… Вы, конечно, знаете, как жарят мидий? На ржавом железном листе, закреплённом меж камней. Такой лист вы обязательно найдёте где-нибудь среди скал. Для костра собирают сухую траву. Съев оранжевое мидиево тельце, надо обязательно втянуть из раковины немного сока, смешанного с морской водой, и только потом уже можно пить сухое… После вина полагалось для протрезвления «мерить глубину» – многократно погружаться в восхитительно-про-

хладную синь, казавшуюся твёрдой как кристалл, и блаженно выныривать на уже клонящееся к закату мягкое солнце. За день мы обгорали до багровеющей черноты, а как-то ближе к вечеру я повалилась со скалы, на которой сидела, ребята хватали за руки меня, друг друга… В общем, мы падали в пропасть в связке, как брейгелевские слепцы… Домой я явилась с разодранным от подмышки до ступни боком.

– Ах, вы пили водку?! – всполошилась мама.

– Не водку, а сухое вино, – отвечаю гордо.

– Ах, это же совсем другое дело! Сухое вино – это прекрасно!

– Ну, какая разница, что они пили, – смеялся папа, – если напились так, что падали со скалы!

Нет, Володька Тужиков с нами тогда не ездил. Они с Пестеревым всё больше по олимпиадам, математическим, физическим… Только какой же он англичанин, наш Таджик, если вот сейчас он, как и я, с наслаждением загребает «вьетнамками» по раскалённому асфальту и говорит Мишке с этой неповторимой ялтинской интонацией, как бы чуть небрежно, врастяжечку, с придыханием:

– Ну, шо такое, Пестер? Почему обязательно здесь курить? Смотри, какая секвойя! В Ливадийском парке засохла, в Массандре засохла, а здесь, у Наташки, у самого моря…

И мы все восхищаемся секвойей, как будто вырастила её сама Наташка. Но ведь это и вправду Сумкина, а значит, и наша секвойя, как и всё здесь – наше, мы – местные.

«При чём здесь Ханжонков?» – спросите вы. Года два назад я увидела на доме на улице Боткинской чёрную мемориальную доску:

«В этом доме с 1919 по 1945
жил основоположник
отечественной кинематографии
А.А. Ханжонков»

Надпись потрясла меня. Понимаете, я выросла в соседнем дворе, а сюда, к Ханжонкову, пришла, извините, с мусорным ведром. Обитатели наших дворов выбрасывают мусор в баки за гостиницей «Украина» – угол Боткинской и Чехова, знаете? На обветшавшей гостинице, в которой теперь никто не живёт, тоже доска:

«Памятник архитектуры
Здание построено в 1902 году
Архитектор О.Е. Вагенер
Охраняется государством»

Да, великолепный русский модерн. Таких «модерновых» домов, хотя и без досок, предостаточно в нашем районе. А если уж не модерн, то непременно «во вкусе татарской избы», то есть с высоченными, отнюдь не татарскими окнами, и в зубчатом кружеве опоясывающих весь дом деревянных веранд, с которыми давно переплелись-сроднились глицинии. Таким был и наш дом с коммуналками до капитального ремонта 1970 года. Тогда первым делом спилили, казалось, отчаянно сопротивлявшуюся глицинию. Она обречённо швырнула на асфальт свои стручки – замшевые чехольчики с пуговицами-семенами. А вместо веранды устроили отдельный вход с лестницей, кухню, прихожую, туалет. Я, помнится, болела, и одноклассницы пришли меня навестить. Ключа не было, и я решила впустить девчонок через окно туалета, выходящее на лестницу. До сих пор стоит у меня перед глазами внезапно побелевшее треугольное Манино личико с ярко проступившими веснушками. На Маню валится почти трёхметровая оконная рама с наспех закрашенными синими стёклами. Общими усилиями Маринку спасли

от рамы, а раму – от каменных ступеней, её бережно прислонили к стеночке. «Замечательный ремонт! – веселились пришедшие с работы родители. – Десятилетняя девочка нечаянно высадила раму!»

…И всё это было, кажется, ещё совсем недавно, когда были молоды родители, приезжал из Киева мамин друг детства с семьёй, и мы все ходили в «Украину» обедать.

– Наденька, будьте добры, – обращалась мама к официантке, нашей соседке.

Муж Нади, музыкант ресторана «Украина», настраивал в оркестре гитару, другая работающая здесь соседка, Валя, выглядывала из посудомоечной…

Вы ведь знаете ялтинские дворы? С другой стороны от Боткинской, как раз там, где устроил Ханжонков своё киноателье, к нашему двору примыкает проходной двор номер тринадцать. На одном из зданий «проходного тринадцатого» пару лет назад тоже была беломраморная доска с надписью о том, что то ли в 1913, то ли в 1907 году этот дом и, естественно, его владельца такого-то посетил государь-император. Я поленилась переписать эту надпись, и вот доска исчезла. Будем надеяться – временно, на реставрацию? А сам дом обнесён забором из сетки-рабицы, а аккуратный круглый каменный бассейн перед домом исчез или скрыт другим высоченным глухим забором гадкого коричневого цвета, табличка на котором не поминает государя, а угрожает злыми собаками. Во времена моего детства не было в Ялте ни заборов, ни злых собак. Зато почти в каждом дворе нашего района были такие маленькие мелкие бассейны. Должно быть, во времена дач и вилл в них стояла задумчивая вода и подрагивали плоские блюдечки листьев кувшинок, а в шестидесятые годы в них иногда устраивали клумбы. Мне же их гипсовые днища представлялись изначально предназначенными летом быть устланными рыжеватой кипарисовой хвоей, а зимой – жёлтыми с зелёными и красными прожилками листьями платанов и клёнов. Дворы отделялись друг от друга не заборами, а дровяными сараями – отопление-то было печное. У нас до сих пор сохранилась огромная печь-голландка. В тихие и сухие декабрьские сумерки мама колола у сарая дрова, я тащила их по семиступенчатой лесенке в квартиру, папа приносил вёдра с углём. Из парка санатория «Киев» доносилось глухое воронье карканье, а в неподвижном воздухе синеватым дымком висело молчаливое напоминание о зиме настоящей, о никогда не виданной мною среднерусской природе, о насквозь продуваемых светлых берёзовых рощах и лимонных кустодиевских закатах, которые я полюбила по книгам верно и навсегда, вслед за чеховскими сёстрами – «В Москву! В Москву!» И только в этой любви не ошиблась…

Так вот, и наш двор отделялся от дома Ханжонкова чередой сараев и ещё одним обширным двором, который назывался «морским», потому что жили здесь работники порта. Дома «морского» двора в сравнении с остальными были, можно сказать, новыми, постройки, наверное, пятидесятых или конца сороковых годов. В этом дворе сорок пять лет назад я познакомилась с Пушком. Мне было три года, ему – три месяца. Мы тогда долго смотрели друг на друга почти одинаковыми карими глазами – человек и собака, щенок лайки и маленькая девочка. А потом дружили семнадцать лет. Но, как говорится, «это уже совсем другая история» и другой рассказ или даже повесть. Я назову её «Друг детства». А вот фотография у дома в «морском» дворе, где жила моя подружка Оля. Год шестьдесят четвёртый или шестьдесят пятый. Нам по пять-шесть лет. Я в короткой черной шубе и вязаной шапке с отворотом, худенькая Оля – в пальтишке и в беретике. Мы обе в ботинках и безобразных шароварах «с начёсом», стоим, щуримся на мартовском солнце, заливающем Олины окна, ствол старой, напоминающей удава глицинии, клумбу и сараи, за которыми Дом Ханжонкова – рядом, в пятнадцати метрах.

С мусорным ведром в руке я подошла к Дому. Вплотную к нему, почти закрывая мемориальную доску, стоял бежевого цвета прицепной фургон, в нём жили. В свой двор я вернулась через «морской», обогнув страшного многоэтажного жилого монстра, возведённого строительной фирмой «Console» на месте курортной столовки, когда-то по-домашнему шумевшей в старой кипарисовой аллее. Эти вырубленные теперь благородные великаны были видны из

наших окон. У нас в октябре бывает ветрено и жарко, а море всегда необыкновенно глубокого и свежего синего цвета, даже чуть с фиолетовым оттенком, с лёгкими белыми барашками у горизонта. Как точно будет написано об этом впоследствии, «нынче ветрено и волны с перехлёстом…». Небо было почти такой же густой синевы, но казалось мне оранжевым, наверное, от щедро разлитого солнца и выжженных рыжих холмов, отражённых в море и небе. В такие дни меня не выпускали во двор: «Распотеешь! Продует!» Бабушка важно и многозначительно изрекала:

– Вчера был ветер, сегодня ветер и завтра будет ветер!

А забежавшая соседка мелко трясла головой: «Да! Да! Да!», как будто бабушка открыла ей невесть какую истину. Я с тоской смотрела в окно на кипарисы, слегка шевелившие золотыми ветвями, и они казались мне товарищами и даже сообщниками, соучастниками в нелёгком деле жизни. И вот их нет, и только два немолодых печальных стража, оставшихся от того стройного воинства, охраняют вход в Дом Ханжонкова да тонкая прямая магнолия удивлённо и нелепо торчит посреди асфальтового двора на фоне вывески «Штаб Партии регионов» на первом этаже «консольского» монстра. Вот уж воистину пришли и к нам каменные джунгли! Ствол магнолии длинный, голый, и только на самой верхушке застыли плотные кожаные листья. В детстве мы делали из них индейское снаряжение – пояса, шапки с опереньем, помните?

По всему периметру «монстра» ручьями текло из кондиционеров. Кондиционеры – както не по-ялтински это. Но у подъездов на белых пластмассовых стульях всё равно сидели старушки, прожившие жизнь во дворах под кипарисами, грецкими орехами и разлапистыми инжирами. Помню, году в восемьдесят девятом в нашем дворе появилась специально направленная в Ялту «чернобыльская» отдыхающая – украинская бабушка из тех, что никогда бы не выехала за пределы своего села, если бы не чернобыльское несчастье.

– Та що це таке? – дивилась она на какие-то дворовые пальмы. – Йисты його, чи шо?

– Нет, это декоративное, – силилась объяснить соседка, тётя Катя «верхняя».

– Чого?

– Для красоты.

– Чого? Та на що воно треба?! Та б у нас його давно порубали б, та б вышенок насадыли…

Сын тёти Кати, Юра, инженер ЖЭКа, на какой-то стройке вытащил прямо из ковша экскаватора молодой грецкий орех и посадил во дворе. Орешек рос, входил в силу и собирался плодоносить, но повадилась белка обгрызать завязи, что Юру очень огорчало.

– Юра! Белка пришла! – хохотали соседи.

Озабоченный Юрий Михайлович спускался со второго этажа, бросал в белку камешки. Она, впрочем, не обращала на него ни малейшего внимания, деловито перебегала с кипариса на крышу сарая, легкой пружинкой перелетала на орех… Потом тётя Катя умерла, Юра куда-то переехал, а грецкий орех немедленно спилили, как и все наши многочисленные сливы. Сливы мы без всякого для себя вреда ели исключительно зелёными, так что сводило скулы, и я до сих пор не понимаю, как можно эти плоды употреблять в спелом виде. Сосед и ровесник Серёжка Иванов, с которым мы в школе угодили за одну последнюю парту, в первом классе солидно и мечтательно говорил мне как о чём-то дорогом и безвозвратно ушедшем:

– А помнишь, как мы в детстве зелёных слив объелись?

Правда, в «морском» дворе на месте спиленных деревьев моего детства теперь чудом пробивается у стенки каменного гаража низенький инжир, молодой, но уже с поспевающими плодами, развешанными равномерно, как ёлочные игрушки. Я потрогала его дружелюбно растопыренные тёплые пятерни и решила, что имею право на один сизый, как бы припорошенный пылью инжирчик. Рыхлая, отсвечивающая фиолетовым алая мякоть обволокла губы и язык терпкой сладостью, а белый вязкий сок из сломанной плодоножки надолго склеил пальцы, и почему-то так не хотелось их отмывать…

В конце августа и в сентябре наш двор бывает усыпан сухими цветками акации. Раньше акаций было много, высоких, раскидистых и старых, почти столетних. Они даже образовали во дворе небольшую тенистую рощицу, называемую нами, детьми, «полянкой» и служившую местом для игр и закапывания «секретиков». Теперь осталась одна только «наша» акация у самого крыльца. В продолжение последних десяти лет мама каждый год озабоченно говорит, что надо бы спилить акацию, а то ведь «подохнет и упадёт на голову», но тут же добродушно добавляет: «А может, я раньше подохну» и велит нам поливать старую дуру, ежегодно, как ни в чём не бывало, выпускающую над самой крышей нежно-зелёные овальные листочки. Во времена моего детства в «морском» дворе огромные шершаволистые шелковицы всё лето роняли на асфальт чернильные кляксы. А осенью у Ханжонкова с гулким стуком падали на крыши сараев каштаны, завёрнутые в щетинистые шкурки цвета июньской зелени. Шкурки лопались, вкусно чмокая и обнажая глянцево-шоколадные каштанчики с матовым кремовым бочком. Мы для каких-то нужд собирали их, меняли, вели целые каштановые хозяйства…

Улица Пушкинская тоже вся каштановая, вперемешку с платанами. Вернее сказать, это не улица, а бульвар напротив нашей школы и вдоль речки, бегущей из водопада Учан-Су и тянущей за собой неестественно густые и яркие космы водяных растений. На ней-то, на Пушкинской, я и увидела объявление о ханжонковском вечере: 12 августа 2007 года. Сегодня. Значит, для меня.

В тёмном и душноватом, несмотря на настежь распахнутые двери, клубе симпатичный киновед Борис Михайлович Арсеньев рассказывал для меня и ещё полутора-двух десятков человек об Александре Алексеевиче Ханжонкове, отставном казачьем офицере, влюблённом в синематограф. О его друге и соратнике, режиссёре Евгении Францевиче Бауэре, сыне обрусевшего австрийца. В роковом семнадцатом режиссёра отпели в ялтинском храме Александра Невского и погребли на «новом» Ауткинском кладбище. Теперь это кладбище называется «старым», там лежат мои бабушка и дед и наш одноклассник Игорь Раскатов, могилу которого только вчера искали мы с Сашкой Семухиным, но не нашли. И могилу Евгения Францевича тоже пока найти не удалось. А ещё нам показали последние два фильма, которые успел снять Бауэр в 1917 году в Ялте. Просили принять участие в конкурсе на проект или хотя бы идею памятника А.А. Ханжонкову. Что ж, я думаю, что Александр Алексеевич когда-нибудь обязательно будет сидеть у входа в Ялтинскую киностудию около нашей школы. Нет, он ещё не прикован артритом к инвалидной коляске, просто зашёл в своё киноателье посмотреть, как снимается фильма. На низеньком столике перед продюсером фигурка его Пегаса, фирменного знака акционерного общества «Ханжонков и Ко». Кажется, что крылатый конёк сейчас взлетит, выпорхнет, как голубь, из сильных, бережных и щедро распахнутых ладоней Александра Алексеевича… У ног Ханжонкова старинный киносъёмочный аппарат, а за спиной – мгновенно узнаваемый, неповторимый крымский силуэт: скала Парус или Дива, Ласточкино гнездо или Медведь-гора. Нет, лучше просто Поликуровский холм! На фоне холма – переливающаяся в морских и солнечных бликах фигура женщины вполоборота в огромной шляпе – Вера Холодная. Кажется, она тоже сейчас полетит, заскользит вдоль моря, как Бегущая по волнам, как наша единственная и непостижимая страна, страна воинов и очарованных странников, мечтателей, первопроходцев и мореходов, страна, которую мы потеряли тогда, в семнадцатом, а потом в страшной войне чудом обрели вновь, и теперь снова теряем… Но нет конца этой таинственной и высокой судьбе, этой извилистой, тяжкой и всё равно счастливой, счастливой, бесконечно счастливой дороге…

Будет такой памятник возле киностудии и моей школы. Такой или даже лучше. Верно, Борис Михайлович?

Но ведь я не рассказала вам самого главного – как я нашла Дом Ханжонкова во дворе, где прошло моё детство.

Когда-то давным-давно была у меня «летняя» подруга Вика. Она приезжала на лето к бабушке в Ялту. Бабушка Вики жила в такой же дореволюционной, двухэтажной, теперь многоквартирной коммунальной вилле, как почти все дома нашего района. Мы с Викой бегали по тёмной деревянной лестнице, уставленной горшками с пальмами, фикусами и гигантскими алоэ, чьи змеевидные отростки расползались по широким лестничным подоконникам, как тесто из квашни. Почему-то я отчётливо запомнила тяжёлый душный запах этой лестницы. Запах, казалось мне, старости, запах помнивших Надсона, интеллигентных ялтинских старух под полотняными изжёлта-белыми зонтиками. Одна такая очень пожилая дама жаловалась маме на дворовых собак, обижавших её пёсика:

– Представьте, некая собачонка Лада…

Конечно, конечно, про старушек и Надсона я додумала гораздо позднее, а тогда была уверена, что запах исходит от громадного фикуса в облезлой коричневой деревянной кадке. Потом это стало почти наваждением. В Таиланде, в Индии, во Вьетнаме увидев такой привольно растущий под тропическим небом фикус, я всякий раз на мгновение обоняю запах моего детства, бросаюсь к фикусу… Конечно, он ничем не пахнет. Я попыталась войти в этот дом спустя сорок с лишним лет. Увы! Весь он – в пристройках, застеклённых верандочках, серебристых трубах газового отопления, «евроокнах» и прочей столь необходимой для жизни ерунде, из которой вдруг неожиданно выглядывает старая лепнина, – не пустил меня. Всё заборы да закрытые «на код» калитки. Была открыта только одна дверь в подъезд рядом с двором «шестой» школы. Я было сунулась туда и устыдилась: никакой лестницы – прямо за дверью располагалась кухня с раковиной, плитой, газовыми и водяными счётчиками. Я поспешно ретировалась: не объяснишь ведь людям, что я ищу у них в кухне даже не прошлогодний снег – запах сорокалетней давности! Да ещё почему-то с пластмассовым мусорным ведром в руках! И с блокнотом в кармане халата! Но ведь такая или примерно такая лестница могла сохраниться в другом подобном доме. Так я забрела на Боткинскую к Дому Ханжонкова. Войти внутрь, однако, тоже не удалось. К бежевому прицепчику была привязана гладкошерстная тупорылая собака бойцовской породы.

Я побрела вверх по Боткинской. Через дорогу почти сразу нашёлся нужный мне дом. Его проходной двор, ведущий к поликлинике, был мне хорошо известен. К счастью, сейчас двор был торжественен и пуст. В нём не было ничего, кроме мрачноватого платана и валяющихся на клумбе остатков каменного грота, когда-то стоявшего, судя по всему, над бассейном. В серых развалинах угадывался гривастый лев. И дом был под стать – серьёзный, величественный, в три этажа в отличие от подавляющего большинства двухэтажных ялтинских вилл. Он совершенно не походил на другие ялтинские дома, зачем-то оштукатуренные как наш, например, поверх намертво пригнанных друг к другу глыб серого крымского камня. Это действительно был настоящий старый замок. Правда, сбоку к нему лепился легкомысленный балкончик с голубенькими занавесочками, а дальше за изящным бамбуковым забором жил летней жизнью уже типичный ялтинский двор с сарайчиками, хромыми стульями, столом, накрытым клеёнкой, за которым по вечерам режутся в «дурака» и режут арбуз… И с допотопной колченогой кушеткой или качающейся раскладушкой, на которой обязательно валяется с банкой пива голый по пояс дядька… Там на глицинии болтаются мокрые купальники, а на воткнутой в землю половинке деревянных качелей лежит тоненькая девчонка в черной майке и крошечных джинсовых шортах и задумчиво курит, глядя в раскинувшуюся над ней, тянущуюся к югу роскошную крону ливанского кедра… Но это всё за домом, за заборами, а сам замок казался необитаем. Я глупо себя вела. Тщательно переписала в блокнот надпись на солидной, хотя и несколько грязноватой доске:

«В этом доме в 1919 году находился
первый УКОМ комсомола.

Мемориальная доска установлена
в честь 50-летия комсомольской
организации г. Ялты
май 1969 г.»

Надпись касалась меня самым непосредственным образом: в мае 1969 года наш класс как раз приняли в пионеры. Потом я слонялась вокруг замка, заглядывала во двор поликлиники, с удовлетворённым ялтинским патриотизмом отмечая, что здешняя секвойя ничуть не хуже алупкинской. Гладила зачем-то ствол платана и заодно сидящего на нём облезлого и пятнистого (в цвет платановой коры!) худющего жёлтоглазого кота. Засматривала даже в окно показавшегося нежилым полуподвала, набитого картонными коробками, и отшатнулась, наткнувшись рассеянным взглядом на вальяжно покачивающийся среди коробок широчайший, с перепугу показалось – во всё окно, женский зад в белых трусиках-«стрингах». Наконец, решилась зайти в сумрачный подъезд. Деревянная лестница была! Была! Внизу, правда, слегка заваленная старыми табуретками и тазами с отвердевшей извёсткой, но очень похожая на ту, из моего детства. Впрочем, фикусов не было и пахло жареной рыбой. Но ведь есть ещё и второй и даже третий этаж. Я поднялась и, ничего не найдя, бездумно смотрела из высокого готического окна на Дом Ханжонкова и чуть подальше – на крышу моего дома в перламутровых августовских сумерках… Внезапно дверь скрипнула, и в освещённом проёме показался высокий мужик моих лет, совершенно седой, в темноте коридора чрезвычайно похожий на Билла Клинтона.

– Женщина, у нас не сдаётся…

– Извините, – я попятилась к лестнице, но он преградил мне дорогу.

– Вы что-то ищете?

– Да, то есть – нет… Извините…

– Но вы кого-то искали, я видел. Я в этом доме родился…

«В родильном доме имени Соболева ты родился», – чуть не брякнула я, но вместо этого покорно сказала:

– Хорошо, я объясню. Только давайте во двор выйдем, здесь жутко.

Мы вышли. Во дворе ничего не изменилось, лишь кот переместился с платана на каменного льва и высокомерно взирал оттуда круглыми глазищами с расширенными зрачками.

– Понимаете, – начала я, – я тоже родилась и выросла здесь, на Чехова…

– Лжёте. Я на Чеховке всех девчонок знал.

– Так уж и всех! – обозлилась я. – Просто вы, наверно, старше лет на пять, на нас внимания не обращали…

– И в нашей школе вы не учились, – упорствовал «Клинтон».

– Ну, шо такое, Гена?! – вдруг раздался женский крик с балкончика. – Женщина, у нас не сдаётся!

– Щас, покурю… – отмахнулся Гена. – Что вы всё-таки делали у нас во дворе? А Мурзика зачем трогали? Он лишайный…

– Ничего он не лишайный, – обиделась я за Мурзика, – он облезлый. С голодухи, наверно. Кормить кота надо.

– Он не наш, он общий, – наконец-то смутился Гена. – Но в шестой школе вы ведь не учились?

– Не училась. Зато я с Таней Французовой в одном дворе жила. Таню-то помните?

– Танечку?! Ещё бы! В одном классе… – лицо Гены просияло и вновь мгновенно омрачилось. Я знала почему. Таню убил муж много лет назад.

– Я в «двенадцатой» училась, – сказала я примирительно.

– О-о-о! В «английской»? – Гена опять просветлел. – Так ты одноклассников ищешь? Но у нас в доме, кажется, никого из «двенадцатой…»

– Да нет же!

И тут я сделала то, что должно было показаться крайне странным и даже подозрительным жене Гены, следившей за нами из-за балконной занавесочки, и Мурзику, который продолжал рассматривать нас внимательными глазами хищника, внезапно вспыхивающими зеленоватым фосфорическим блеском в быстро сгущающихся южных сумерках. Придвинувшись к Гене и зачем-то оглянувшись по сторонам, я выдохнула счастливым заговорщицким шёпотом:

– Понимаешь, я ищу своё детство!

Старый ялтинец, мой сосед и ровесник, конечно же, он понял.

2007 г.

Третий ёж

1

Ежи не были редкостью в южном городе, где мне посчастливилось родиться. И до сих пор в покрытых сосновыми лесами обступивших город горах, в многочисленных скверах и санаторных парках ёжикам есть где разгуляться. Однако первого своего ежа я обрела не в лесу и не в парке, а на самой что ни на есть «городской» улице. Ныне она зовётся, как и до революции, Екатерининской, а тогда была улицей Литкенса. Кто такой Литкенс – не знаю до сих пор, наверное, какой-нибудь революционер. «Екатерининская-Литкенса» славится невероятным количеством канализационных люков. Буквально на каждом шагу, через метр-полтора натыкаешься на старинную прямоугольную решётку или чугунный кругляш с выпукло отчеканенными надписями. Если приглядеться, можно прочитать, что данное металлическое изделие произведено таким-то товариществом в 1907 или в 1896 году. А мне даже приглядываться и наклоняться не требовалось, потому что было мне пять лет от роду, и читала я всё, что попадалось на глаза.

Ёж деловито семенил от одного люка к другому и весь, до последней иголочки, графически чётко выделялся на ярко-белом пятне асфальта в пересекающихся лучах фонаря и луны. При моём приближении ёж, как ему и положено, свернулся, но то ли сам не счёл нужным меня колоть, то ли был так молод, что его колючки ещё не приобрели необходимой жёсткости. Во всяком случае, я голыми руками несла серый шар с любопытно высовывающимся чёрным носиком и такими же бусинками глаз. Благо дом совсем рядом.

Ёжика поселили на деревянной, обвитой глицинией веранде. Вернее, он сам там поселился, потому что мог беспрепятственно ходить по всей квартире и выходить при желании во двор. Ему у нас, несомненно, понравилось. Любимым блюдом ёжика была вермишель с творогом или просто с маслом. Вообще-то её готовили для меня, а я щедро делилась с ёжинькой. Мы так и звали его – Ёжинька. Обыкновенно Ёжинька лежал на спине у меня на коленях и прилежно разевал рот. Я отправляла туда вермишель ложку за ложкой, иногда, если мама спохватывалась, то одну-другую ложку проглатывала сама. В отличие от меня, Ёжинька готов был поглощать вермишель бесконечно. Когда объём съеденного начинал превышать его небольшой желудок, заглотанная вермишель вываливалась на серый животик. Ёжинька, ловко изогнувшись, подбирал её язычком и снова жадно раскрывал рот. Трапезы обычно заканчивались угрозами в мой адрес: и сама не ем, и причиняю вред здоровью животного!

Хотя ёжика кормила я, больше всех он, кажется, любил папу. Долгими зимними вечерами папа с газетой, положив ногу на ногу, сиживал в кресле у журнального столика под торшером. Ёжинька забирался под брючину на папину ногу и, замерев, сидел так часами. Чтобы не беспокоить Ёжиньку, я подносила папе чай, книгу или свежую газету взамен прочитанной. Мы с папой как-то провели исследование: обмерили Ёжиньку с головы до ног и сравнили результаты с данными Брема. Оказалось, наш ёж полностью соответствует среднестатистическим параметрам – и длина его, и ширина, и окрас, а также длина лапок и крохотного хвоста полностью совпали с научными! Как я теперь понимаю, удивительным было совсем другое: ёж милостиво разрешил себя измерить. Но далеко не всем позволялось фамильярничать. Мама как-то вздумала, держа Ёжиньку на руках, почесать его под подбородком, это место отличалось особо мягкой светло-дымчатой шёрсткой. Наш милый Ёжинька цапнул её за палец! Зубки оказались очень острыми.

Ёжинька прожил у нас не менее двух лет. Помню, когда случилась трагедия, я уже ходила в школу. Соседи снизу иногда жаловались, что ёж мешает спать, по ночам топает по деревян-

ному полу веранды. Но вот прошло несколько дней, Ёжинька не появлялся. «Сегодня топотал?» – с надеждой спрашивала я соседку. «Нет, больше не топочет», – расстроенно говорила тётя Вера. Недели через две, когда я рылась в стоявшем на веранде бабушкином сундуке и невзначай оторвала взгляд от какого-то платья с рюшами, то увидела тёмное пятно на буровато-серой тряпке, что висела на спинке кровати. Собственно, это была не одна кровать, а несколько разобранных – составленных в ряд железных спинок и панцирных сеток. Я десятки раз проходила мимо них в поисках Ёжиньки и ничего не замечала. Ёжинька, видимо, лазил по ним, зацепился колючками за тряпку, пытаясь высвободиться, просунул голову между прутьев и задохнулся. Я заорала. Прибежала мама и тоже заревела в голос. Пришёл папа – было воскресенье, – молча снял с кровати крохотное тельце, вместе с тряпкой завернул в газету и вынес на улицу, в мусорный бак. В тот день он не сказал нам ни единого слова, а мы с мамой прорыдали до позднего вечера.

2

Вторая история про ежа веселей, а я на десять лет старше. Десятый класс, середина мая. Нас, видимо, не слишком волнуют грядущие выпускные экзамены и поступление в вузы, потому что мы с одноклассниками постоянно находим время и поводы для разного рода безобразий. Вот и вчера Володька Граматунов пригласил всех к себе кататься на мопеде и ловить ежей. Он живёт на горе возле старинного замка, вокруг «графских развалин» и Володькиного дома – запущенный парк. На приглашение откликнулись только мы с Мишкой Пестеревым. Я – из любви к ежам, Мишка – из любви ко мне. Приходим. Володьки нет. «Катается», – говорит Володькина мама и смотрит с неодобрением. Мопед Володька собрал себе сам из запчастей, найденных в отцовском гараже. Автоделу он отдаёт неизмеримо больше времени и души, чем учёбе.

На другой день мы набрасываемся на Граматунова с упрёками. «А это кто такой?» – говорит он и вынимает из-за пазухи ежа. Как и Ёжинька моего детства, Володькин ёж и не думает колоться, поглядывает на столпившийся вокруг «десятый А» с нескрываемой симпатией. Кто-то помчался в буфет за молоком. Его нам выдавали бесплатно. Мишка, большой любитель молока, как-то на перемене выпивший на спор целое ведро, пошутил, что не обязан делиться.

Ёж охотно пил молоко, угощался булочками, иногда вырывался из двадцати восьми пар рук и бегал по партам. Учителя возмущались. Наша классная руководительница Лидия Васильевна отняла его и ходила с ежом на плече из класса в класс, с урока на урок. Четвёртые классы встречали их восторженным рёвом. Правда, после пятого урока она его нам вернула – не решилась явиться с ежом на педсовет. А шестым уроком у нас, как на грех, была физика.

Свирепый физик Борис Маркович потребовал: ежа немедленно удалить. Мы возражали. Тем временем ёж вырвался из Мишкиных рук и забрался под кафедру. В физическом кабинете для опытов предусмотрена раковина, под доски, скрывавшие водопроводные трубы, и забился наш ёжик, протиснулся в щель. Остаток урока прошёл в нервозной обстановке, а под конец Борис Маркич объявил, что если к понедельнику вверенный ему кабинет не будет освобождён от ежа, то он поставит Мишке в аттестат не «пятёрку», а «четвёрку»! Это был запрещённый и довольно неубедительный приём: все понимали, что Борис Маркич поставит то, на что Мишка сдаст. А сдавать мы будем, к счастью, не одному Борис Маркичу, а комиссии, в составе которой непременно присутствует как математик и наша Лидия Васильевна. Но Пестерев всё равно испугался.

На другой день, в воскресенье, был мой день рождения. Утром, часов в десять, явился мрачный Пестерев – в одной руке гвоздичка, в другой топор, – сунул мне цветок и, махнув топором в сторону школы (я жила рядом), бросил: «Пошли!» Надо ли говорить, что никаких охранников тогда и в помине не было, ни школа, ни отдельные кабинеты не запирались! Мишка

быстро отодрал несколько досок и вытащил на свет Божий ежа, который, похоже, и рад был, да не знал, как выбраться. Потом Пестер прибил доски на прежнее место, а я, чтобы окончательно умилостивить Борис Маркича, помыла полы. Ежа, разумеется, потащили ко мне. На кухне предложили молока, он не отказался, да ещё по собственному почину поел чего-то из кошачье-собачьей миски. Терьер Пифинька и кот Шустрик обожали друг друга и кормились совместно. «Что там у вас? Ёжинька? – позвала мама из спальни. – Дайте мне его!» Я вручила ей ежа. Папа, читавший в постели газету, внимательно посмотрел и ничего не сказал. А Пифинька, валявшийся, как всегда, поверх одеяла в ногах моих родителей, очень обрадовался. Шустрик в это время пропадал где-то на улице. Так я и оставила их: папу с газетой, маму с «Новым миром», кудлатого Пифиньку у них в ногах и ежа, вальяжно разлёгшегося между мамой и папой в точно такой же позе, что и Пифинька, на спине, лапками вверх. А мы с Мишкой побежали на пляж.

Когда я вернулась, папа обедал на кухне, а мама с Пифинькой и «Новым миром» по-прежнему нежились в постели. Ежа не было. «Ушёл», – сказала мама. «А Шустрик его хоть видел?» – расстроилась я, заметив кота, вылизывавшегося на подоконнике. «Почём я знаю? – отмахнулась мама. – Не морочь мне голову!» «Ну, а ты куда смотрел? – спросила я Пифиньку про себя. – Собака называется!» Тогда я ещё не разучилась разговаривать со зверями молча, телепатически. Пифинька виновато вильнул хвостом.

3

Третий ёж появился в моей жизни, когда я стала совсем взрослой – моему сыну было восемь лет. Сын учился во втором классе, а мы с мужем работали в институтах подмосковного академгородка Куреслеповка. На территории моего института, построенного прямо в лесу и обнесённого бетонной стеной и колючей проволокой, жили две косули, целая стая уток, лебедь и какие-то тетёрки в вольерах. Всю эту живность поставлял нам соседний Институт экологии и эволюции животных. Лебедь нередко подходил к проходной, и вооружённый охранник очень серьёзно говорил: «Пропуск!» Потоптавшись и издав несколько гортанных звуков, лебедь шёл восвояси к пруду, где плескались довольные жизнью, никуда не стремившиеся утки. Копытные не пытались выйти за проходную, но всё время рвались в лабораторный корпус, забегали даже на третий этаж. Уборщица вывешивала в вестибюле отчаянные объявления: «ЗАКРЫВАЙТЕ ДВЕРЬ! ВХОДИТ ОЛЕНЬ И ГАДИТ!»

Как-то по дороге с работы мы с коллегой встретили ежа. Судя по колючим, частью обломанным желтоватым иголкам, ёж был немолод и утомлён жизнью. При виде нас он сразу же свернулся, и взять его руками не представлялось возможным. Мой коллега сбегал в лабораторию, принёс бумажный рулон от самописца. Ежа предъявили охраннику. И хотя его, даже завёрнутого в линованную бумагу, никак нельзя было спутать с катарометром, охранник, как мы и предполагали, потребовал пропуск «на вынос материальных ценностей». Не говоря ни слова, я отступила на несколько шагов и принялась вытряхивать «материальную ценность» из свёртка на клумбу. Охранник испугался так, будто я оставляла на его попечении гадюку. «Идите, идите! – завопил. – Во народ! Шуток не понимают…»

Дома нас ждали. Мой товарищ успел позвонить и сообщить приятную новость. Для ещё одного члена семьи были приготовлены молоко, вермишель, творог, свежая капуста, морковь, яблоки, печенье и ещё какие-то, специально для него подобранные яства. Ёж, однако, не стал ни пить, ни есть, забежал в туалет и уткнулся носом в веник. Так он и стоял там, к великому огорчению нашего молодого, игривого и дружелюбного кота Тихона. Тихон многократно подходил к туалету и, оглядываясь на нас за поддержкой, подкрадывался к ежу. Ёж топорщил колючки и злобно хрипел. Обескураженный кот отступал. Так продолжалось двое суток. Ёж не дотрагивался до угощения и, похоже, менять тактику не собирался. «Не ёж, а какой-то, прости

господи… козёл!» – подытожил всеобщее разочарование глава семьи. Решено было вернуть гостя в естественную среду обитания, а то ещё помрёт с голоду. Тем более проку от него никакого, а Тихону – так и вовсе одно расстройство.

Сипящего ежа завернули в «Литературную газету» и всей семьёй, оставив на хозяйстве Тихона, отнесли в близлежащий лесок, где и выпустили на тропинку. Он не спешил уходить и, насупившись, нелюдимо взирал на нас из-под своих колючек. «Иди уже, тормоз!» – не выдержал сын, и третий ёж, шурша жухлой прошлогодней листвой, задумчиво поковылял прочь.

2013 г.

Детство, которого не было

Лекция была очень интересной, но, несмотря на безукоризненную дикцию докладчика, я с трудом его слушала. Почти каждую фразу он заканчивал, внезапно поворачивая голову к сидевшему рядом ведущему. Из-за этого его голос постоянно «нырял»: резко менял высоту, густоту и тембр, начинал звучать глухо, будто прорываясь через преграду. Мне казалось, что это не голос, а я то и дело проваливаюсь в глубокую яму меж двух океанских волн, а потом меня неумолимо выносит обратно, на гребень – к громкому и отчётливому звучанию. Наверху хорошо: свистит ветер, сдувая с верхушки волны солёный пенный гребешок… – и вдруг снова провал. Меня начинало тошнить как при качке. Не грипп ли начинается? После лекции стало понятно – нет, не грипп. Я пыталась бороться с «качкой»: ёрзала на стуле, наклоняла голову, пыталась угадать момент следующего поворота, грозящего провалом, и, чтобы остаться наверху, скашивала глаза на лежавшую передо мной на столе книжку. Я купила её сегодня перед лекцией. С обложки смотрел серьёзный, немного мрачный человек в детском матросском костюмчике и бескозырке. Странная эта одежда, так не шедшая к его молодому, но очень взрослому лицу с внимательным взглядом глубоко посаженных глаз, весьма не вовремя напоминала о море и качке. «Впрочем, – думала я, – сравнение «ныряющего» голоса лектора с морской качкой ему, возможно, понравилось бы». И от этой мысли становилось легче. Будто я и в самом деле нащупывала под ногами твёрдую почву, ухватившись за братски протянутую руку.

Молодого человека в бескозырке звали Юрий Карлович Олеша.

Было понятно, почему художник-оформитель одел его неподобающе возрасту. На первых страницах этой книги, в автобиографическом романе «Ни дня без строчки» Олеша описывает своё поступление в гимназию: *«Старый – это учитель, он экзаменует; маленький – это экзаменующийся. Старый – в форме, форменной тужурке, тоже в меловой пыли и с куском мела в руке; маленький – в матросской куртке»*. По-видимому, по мысли редактора или издателя, писатель Юрий Олеша остался ребёнком, остался в детстве. Это и так, и не так. Думаю, что ребёнком в общепринятом смысле Олеша никогда не был. Он и сам пишет об этом: *«Я был человек, просто человек, не зная о себе, что я маленький, что только недавно явился в мир, что расту, узнаю, постигаю и тому подобное. Именно – я был просто человек»*.

Уверена: каждый из нас приходит в мир «просто человеком» с главным, быть может, единственным, изначально присущим человеку чувством – великой любви и сострадания ко всем живущим, ко всему, что нас окружает. Уже потом человеку объяснят, что он – ребёнок, что он не такой как все и поэтому должен слушаться, есть манную кашу, делать то-то и не делать того-то… Вспомните, в самом раннем детстве мы беспрекословно подчинялись родителям не потому, что должны, а единственно потому, что любили их и не хотели огорчать. Об этом писал Аксаков – о младенческой любви к матери, потом к сестре. Младшую сестру он жалел, всё ему казалось, что она голодна, что ей холодно, что у неё болит животик… Первые и истинные чувства человека – любовь и жалость.

Одно из моих первых воспоминаний. Я просыпаюсь летним утром, думается мне, в начале июня, потому что в июле и августе утра другие – уже нет этой свежести раннего рассвета, звенящей лёгкости. Если это июнь, то мне недавно исполнилось три года. Мама стоит на подоконнике, моет залитое солнцем окно и что-то напевает, наверное, романс Вертинского. Она любит романсы, но я ещё ничего не знаю ни о Вертинском, ни о романсах. И огромное, щемящее как при прощании чувство любви охватывает меня. «Мамочка, птичка моя», – говорю я в полусне, и сквозь ресницы вижу, как мама, стоя на подоконнике, от умиления плачет. И счастливо улыбается мне – вся в слезах.

«*Золотое детство!* – пишет Олеша. – *Уж такое ли оно было золотое? …А кашель, к которому все прислушивались? А отвращение к некоторым видам пищи, которые как раз и нужно было есть?..*» О, этот кашель, «к которому все прислушивались»! Ночами я кашляла, укрывшись с головой, плотно завернувшись в одеяло. Кашляя днём, старалась как-то шуметь, греметь, чтоб не услышали. Болезнь была преступлением, а разоблачение и наказание – неотвратимы. Отвращение «к некоторым видам пищи»? Если бы к некоторым! Меня «пичкали» с утра до ночи, и тошнило от любой пищи, от еды вообще. «У тебя не было детства!» – слезливо каялась мама спустя сорок лет.

Как же я полюбила еду потом! В голодном и весёлом студенчестве не было ничего вкусней жареной картошки. Мы жарили её на кухне общежития в огромной сковороде, как минимум на четверых, на всю комнату. «На картошку», как правило, сбегались гости. «Восемьдесят первая комната жарит картошку! – разносилось по общежитским коридорам. Это было похоже на священнодействие! Конечно, и голод этот, и радость от еды не идут ни в какое сравнение с тем, что испытывал в юности Олеша. Девятнадцатый, двадцатый год в Одессе! Нет, пожалуй, это было ещё раньше, до революции, из пятнадцатого или шестнадцатого года, из Одессы в Ялту приплыл ко мне его великолепный греческий бык: *«С каким аппетитом я ем! Как это всё вкусно. Это тоже всё греческое, южное. Мощный, как тело быка, лежит зелёный перец, испечённый целиком, лежит в борще, выставив бок, как бык, похищающий Европу»*.

Лет с десяти я начала есть всё – и с большим аппетитом. На всю жизнь сохранилось отвращение почему-то только к манной каше. Ещё не выношу даже не столько вкуса, сколько вида размоченного в воде хлеба. Но в этой странности, скорее всего, повинно не «пичканье», лишившее меня детства, а очаровательная история, которую я совсем не помню, но по рассказам и более поздним впечатлениям могу восстановить в точности, до деталей. Я буду рассказывать её, подражая Олеше, то есть непрестанно «перемешивая» времена: *«помню, я иду», «я шагнул через ступеньку на другую», «бабушка будит меня», «мы сидели на одной парте»*. Редакторы утверждают, что надо писать в одном времени – либо в настоящем, либо в прошедшем. В общем и целом, они правы. Но Юрий Олеша «перемешивал» времена! Именно в этом «смешении времён» смысл романа «Ни дня без строчки». И я хочу ему подражать. Во всём. Как подражает маленькая девочка старшему брату. Итак, история о хлебе, размоченном в воде.

Нам с Юрой Белоненко, другом детства и будущим одноклассником, по полтора-два года. Во всяком случае, не больше двух. Это значит, что на дворе шестьдесят первый год. Теперь я это знаю точно потому, что в начале шестьдесят второго мой дед заболеет и умрёт. А тогда смерти не было, и всё было надёжно, навечно, навсегда и только в настоящем времени. И вот мой дед в своём долгополом габардиновом плаще, в мятой старомодной шляпе на бритой голове, с вислыми седыми усами сидит на скамейке в ялтинском городском саду. Вокруг на клумбах подрезанные и завязанные в серую мешковину пальмы – значит, зима – и аккуратно подстриженные кусты жимолости и бересклета. Под ними сухая, бежевого цвета, очень близкая к моим глазам земля со всеми её замечательными подробностями – камешками, мельчайшими ракушками, пустыми улитками, бурыми листочками, рыжей кипарисовой хвоей, а прямо перед скамьёй – красивое белое здание с колоннами и мемориальной доской. Театр имени Чехова.

Скамья, на которой сидят мой дед и папаша Белоненко, обширна, как древнегреческая или славянская ладья. Как и положено, она состоит из длинных, толстых досок, почти брёвен, и мощно выгнута с обеих сторон – внизу и вверху, на уровне голов сидящих на ней взрослых. Вся скамья шелушится тускло-голубыми «лушпайками» старой краски. Мне это очень хорошо видно снизу, «с изнанки», потому что мы с Юркой сидим как раз за скамьёй, под её круто выгнутой, как борта ладьи, спинкой.

Как одет голубоглазый, длинношеий Юрка – не помню. Да и длинношеим я помню его уже старшеклассником и позже – студентом мединститута. А я в плюшевом, зелёном как портьера коротком пальтишке и в белой шапке с помпоном. Моему деду восемьдесят лет, а папаше

Белоненко, знаменитому ялтинскому доктору «ухо-горло-носу», за пятьдесят, он мог бы быть дедом, Юра – поздний ребёнок. Как выглядел Белоненко-старший, я тоже не помню, однако живо представляю его в берете, сдвинутом по-интеллигентски набекрень, на длинной, как впоследствии у Юрки, шее с острым кадыком – кашне. Чем кашне отличается от шарфа? И хотя меня с детства занимает этот вопрос, я до сих пор не удосужилась найти на него ответ, но почему-то уверена, что доктор Белоненко никогда не носил шарфы, только кашне. Кашне – непременно, а вот носить берет доктору совсем необязательно. Он мог быть и в щегольской шляпе с широкими низкими полями. В такой шляпе мой папа на фотографиях тех лет. Правда, папа не считал эту шляпу щегольской, скорее, пижонской, шутил, что в ней он похож на одесского жулика. На руках у папы – я. И разумеется, в плюшевом пальто и в шапке с помпоном. Это означает, что и папину шляпу, и свой помпон, и плащ деда я помню только благодаря фотографиям. Зато плюшевая ткань – золотисто-зелёная, как грудка попугая, как бы подсвеченная изнутри и скользкая на ощупь – результат настоящей, действительно ранней памяти, потому что фотографии были тогда не цветными, а чёрно-белыми, как чайки.

Что делают выгуливающие детей немолодой отец и дед на скамье в городском саду, носящем имя Чехова, так же, как и театр, и улица, на которой родились и уже полтора года живём мы с Юркой? Возможно, они играют в шахматы, возможно, беседуют. Или читают газеты. А может, дремлют на мягком январском солнышке под тихие вздохи моря. Море рядом, в ста метрах, стоит только выглянуть из обсаженной пальмами аллеи, и ты увидишь его синевато-серую, зимнюю, слегка колеблющуюся поверхность, то и дело пронзаемую стремительными чёрно-белыми крыльями, и услышишь чаячьи клики. «Чайки называются чайками, потому что кричат «Чаю, чаю!»», – говорили мне в детстве, и я понимала, что это шутка – взрослые смеялись. А чему, собственно, они смеялись? Ведь чайки действительно кричат именно так.

Пришедшие звать нас к обеду Юрина мама и моя бабушка детей не обнаружили. После волнения, граничившего с отчаяньем, и недолгих поисков нас нашли. Мы с Юркой сидели на земле за скамейкой и с аппетитом поедали из мисочек корм, оставленный старухами для голубей: размоченный в воде хлеб. Не знаю как папаше Белоненко, а моему деду крепко досталось: «Не досмотрел!»

Мне рассказывала об этом мама. А вот Юре Белоненко или не рассказали, или он забыл. Я спрашивала – не помнит. Почему-то мне важно знать, берет или шляпу носил в шестьдесят первом году Юрин отец. И ещё я хочу вспомнить, какой была тогда моя мать. И какой она была в июньский день, стоя на подоконнике, залитом солнцем? Высокая, сильная тридцатипятилетняя женщина с густыми, как конская грива, каштановыми волосами. Она была очень похожа на мать Олеши. Пугающе похожа. И я испугалась, прочитав вот это: *«Она в берете, с блестящими серыми глазами, молодая, чем-то только что обиженная, плакавшая и вот уж развеселившаяся женщина. Её звали Ольга»*.

И мою мать звали Ольга, она тоже носила очень шедшие ей береты голубого или салатового цвета, и у неё были блестящие серые глаза под ровными дугами бровей и часто – обиженное выражение лица. Она обижалась на папу, на меня. Она была совсем другой породы нежели мы с отцом и навсегда осталась для меня загадкой. Самый непонятный, самый не похожий на меня человек – моя мать. Это тем более удивительно, что я тоже женщина и с годами становлюсь необыкновенно похожей на неё, только не характером и не чертами, а обликом. Все говорят мне об этом, я сама порой пугаюсь собственного отражения, случайно взглянув в зеркало, особенно в сумерках, особенно на бегу. Так же было и у Олеши: *«…И другие увидели, что, кроме сходства с отцом, в моём лице начинает жить также и сходство с матерью… И затем, вступив в жизнь, я не представлял себя иначе, как похожим на мать»*.

Всё-таки странно, что самые близкие и понятные мне люди – мужчины. Мой отец и сын. «Трое нас», – написала я когда-то в стихах, посвящённых папе и Севе. Написала, подражая,

должно быть, Борису Пастернаку: *«Нас мало. Нас, может быть, трое. Донецких, горючих и адских»*. Моё стихотворение называлось «Золотая цепь»:

…Разливается сырость и стылость,
Но не виден цепи конец —
Мой ребёнок ещё не вырос,
И пока ещё жив отец,

И пружинит земля упруго,
И вонзают в неё якоря
Корабли, приходящие с юга,
Под ногами гудит земля.

Трое нас – мы идём по причалу,
Пока свет над горами дрожит.
Наша цепь – без конца и начала —
На песке Тихой бухты лежит.

Цепь действительно лежала на песке Тихой бухты, на окраине Коктебеля, называвшегося тогда Планерским. Не золотая, конечно, а обычная, слегка поржавевшая цепь, она лежала в горячем песке вместе с обрывками канатов, обломками каких-то бочек, брёвен, некрашеными занозистыми лодками, огромными старинными якорями, обросшими рыжими и бурыми водорослями… Всё было полузанесено белым песком. Так в 1986 году снимали фильм «Золотая цепь» по Александру Грину. О Грине Олеша тоже отозвался: *«Вот что за писатель был Грин! Его недооценили»*. А главное, Юрий Карлович написал простые и прекрасные слова о комнате Грина в Старом Крыму, которой сам он никогда не видел. Ему рассказывали. *«На стене комнаты – на той стене, которую, лёжа в кровати, видел перед собою хозяин, – был укреплён кусок корабля… деревянная статуя, которая иногда подпирает бушприт»*.

«Трое нас». Но это придёт нескоро, а в детстве – ах, как же мне не хватало брата! Не сестры, а именно брата. Подруги у меня были – и очень хорошие. Мы дружим до сих пор, и чем старше становимся, тем крепче дружим. Были у меня и друзья – одноклассники. Но с самых ранних лет я уже знала, что в мальчиков полагается влюбляться, а они должны влюбляться в меня. Мы так и делали, чем вдребезги, безвозвратно разбивали дружбу, а потом и жизнь, и винили в этом друг друга. Мне просто необходим был брат. Он уберёг бы меня от многих разочарований. Всё сложилось бы по-другому, жизнь не разбилась бы, если б он у меня был. И мама была бы счастливее, ей изначально нужен был сын, а не дочь. Это стало очевидным, когда я родила ей внука.

У Юрия Олеши была сестра. Она умерла совсем молодой от тифа: «*Когда она умерла, через секунду выбежала мама и, топая ногой о пол, кричала:*

– Умирает! Умирает!

Как будто кто-то был виноват в этом, как будто можно было это остановить…»

Мне особенно жутко читать эти строки, потому что я знаю: если бы умерла её дочь, моя мать вела бы себя точно так же. У неё был один ребёнок, одна дочь. Это я. И если бы умерла я… Когда Олеша пишет о смерти сестры, мне кажется, он описывает мою смерть.

Моя мама, которую, как и мать Олеши, звали Ольгой, тоже была полькой, правда, только на четверть. А может, и наполовину, если считать поляками или не считать вовсе, не принимать во внимание запорожских сечевиков. В самом деле, трудно сказать, кто они были этнически – чубатые, длинноусые, часто чернявые и горбоносые, похожие на турок запорожцы. Моя бабка, Софья Никитична Громачевская, по паспорту украинка, хвалилась происхождением от

польских шляхтичей. «Лушпайки» – это её словечко. Наши шляхтичи были не католиками, а православными, в Польше их притесняли, и потому в семнадцатом веке мои предки переселились на Украину, где породнились с потомками запорожских казаков. Помню, бабушка с гордостью рассказывала, как предки скитались по Украине, бедствовали и даже вынуждены были продать за значительную сумму своё шляхетство. Папа терпеливо слушал хвастливые разглагольствования тёщи. Как-то не выдержал: «Продать своё шляхетство! Какая низость!» – «А что, ты бы не продал?» – спросила я и засмеялась. Мне было тринадцать лет, я понимала, что отец – коммунист, интернационалист, и потому ему должны быть чужды любые сословные и национальные переживания. «Никогда!» – отчеканил отец. И он был потомком поляков, только не украинских, а обрусевших, сосланных в Поволжье после одного из польских крестьянских восстаний и породнившихся с донскими казаками. И в его, а значит, и в моей, в нашей с сыном крови бродит неистребимая польская спесь, многократно умноженная на «национальную гордость великороссов».

«Национальная гордость великороссов». Откуда это вдруг выплыло? Из каких тайников памяти? Ах, это статья Ленина «О национальной гордости великороссов». Мы проходили это в институте, а может, ещё в школе, на уроках обществоведения. *«В этой статье Ленин утверждает, что мы можем гордиться тем, что русская нация не хотела мириться с несправедливым устройством общества, с его делением на рабов и господ»,* – читаю я сегодня в Интернете. Да, правильно, мы никогда не сможем с этим смириться, потому что все люди братья, а земля наша – одна на всех. Я так и написала моему соседу Анвару Фатыхову, казанскому татарину. В 1989 году Анвар в составе комсомольско-молодёжного строительного отряда построил наш многоквартирный, девятиэтажный, десятиподъездный дом:

…Так и живём в одной кирпичной клетке,
В московских щедрых, ласковых полях.
В одной степи гуляли наши предки,
Твой – властный хан и мой – спесивый лях.
У нас в роду – кривые сабли, копья,
Ведь ты – ордынец и казачка – я.
Обильно потом сдобрена и кровью
Вся наша неделимая земля.
Сквозь дым веков мы видели воочью:
Кричал мулла, закат ломился вширь
От Волги к западу, где украинской ночью
Мой прадед-пономарь читал Псалтирь.
В заботах вечных о любви и хлебе
Проходит год и век очередной.
Тысячелетие – в одном и том же небе
Мой крест горит и полумесяц – твой.

Несомненно, что так же думал и Юрий Олеша. И его восхищало наше удивительное «единство противоположностей» – если по Гегелю, или «цветущая сложность» – по Константину Леонтьеву. Вот почему он обязательно указывал национальность своих гимназических товарищей, учителей, многочисленных одесских знакомых – русских, евреев, украинцев, греков, армян, болгар. О себе сказал с иронией: *«Я был маленький поляк»*. И с гордостью: *«Я стал писать по-русски – на языке, на котором писал Пушкин»*.

Совсем маленьким, лет в пять-шесть Олеша был в Крыму. «*Мы были в Крыму, мы были в Крыму!* – в детском восторге повторяет он, – *…там белел в лунном свете дворец Воронцова в*

Алупке с как бы утирающими морды мраморными львами, на которых меня сажали верхом… Мы были в Крыму! Мы были в Крыму!»

«А я родилась в Крыму!» – хочется прокричать мне в ответ. Родилась в Ялте и прожила там семнадцать лет. Я тоже знаю, как белеет в лунном свете воронцовский дворец и розовеет в летних сумерках, в синеватой тени Ай-Петринской гряды дом моей одноклассницы Наташи Сумовой.

Помню, я впервые отправилась в Алупку, в гости к Наташе, когда мы учились в шестом классе. Мы недавно подружились и уже «сидели на одной парте».

– Ты сразу найдёшь мой дом, он виден отовсюду, – сказала подруга.

Наташкин дом был действительно виден отовсюду, особенно хорошо с моря, с катера; он светился розовой штукатуркой, выдвигал свой острый, как бушприт гриновского корабля, угол из тёмно-кудрявой зелени санаторных парков, из-под парящей над ними сиреневой громады Ай-Петри. Он был чрезвычайно похож на другой крымский дом – из фильма «Дубравка». В этом фильме один из отдыхающих назвал его «фата-морганой». Наташин дом тоже похож на «фату-моргану», особенно сейчас, почти через сорок лет, когда розовая штукатурка осыпалась, особенно сильно с углов, обнажив кирпичи, а у жильцов нет денег на ремонт. Фата-моргана – это мираж, встречающийся в морях Средиземноморья. *«И фата-морганой любимая спит»* – стихи Пастернака. Дом-мираж, дом-призрак, дом-корабль, несущийся на всех парусах. В нём спит «фата-морганой любимая» – прекрасная и загадочная, как мираж, молодая женщина. Такая красивая и нежная, что никто не верит, что она «инженер по тканям», все думают – актриса. Чудесный, удивительный фильм о нашем ялтинском детстве по рассказу Радия Погодина. Фильм «Дубравка» вышел на экраны в 1967 году. Олеша умер в шестидесятом. Ему бы наверняка понравился этот фильм – умный и грустный, детский и взрослый одновременно. Возможно, ему показалось бы уместным и сравнение дома с «фата-морганой». Так можно назвать не только дом, но и корабль. Где, когда я это прочитала: «Корабль «Фата-моргана»»? Или такого корабля никогда не было? Просто «Фата-моргана» созвучна «Фрегату «Палладе»» и подобно ей летит, изящно накреняясь, вокруг света – по круглому клетчатому глобусу, по Атлантическому, Индийскому, по Тихому океану!

О любимой моей «Фрегате «Палладе»» тоже успел написать Юрий Олеша. Мне кажется, на трёхстах страницах он успел написать обо всём. Мне хочется переписать от начала до конца всю его удивительную книгу «Ни дня без строчки», потому что я думаю точно так же, как он. Обо всём. Как странно – ведь я впервые прочитала эту книгу не в детстве, а вполне взрослой, в двадцать пять лет. Впрочем, несколькими страницами ранее, я утверждала, что детства у меня не было. Но в этом, как и во многом другом, я не могу быть уверена и только одно знаю наверняка: я люблю Юрия Карловича Олешу. Он старше меня ровно на шестьдесят лет, он мог быть моим дедом, но он мне – брат.

В книге «Алмазный мой венец» Валентин Катаев писал об Олеше: *«…часть его души навсегда соединилась с моей: нам было суждено стать самыми близкими друзьями – ближе, чем братья…»*

Можно ли быть ближе, чем братья? Мне кажется, что нельзя, наверное, именно потому, что у меня нет ни братьев, ни сестёр. Даже двоюродных. Но и для Олеши не было ничего выше и прекраснее звания брата. «Братишка!» – окликнул его в Одессе революционный матрос. «*Я был братишкой матросов! Как только не обращались ко мне за жизнь… Но когда мне бывает на душе плохо, я вспоминаю, что именно этот оклик трепетал у меня на плече:*

– Братишка!»

Когда мне бывает плохо на душе, я тоже вспоминаю брата – Юрия Карловича Олешу. Его гениальную книгу, в которой есть всё. И это всё – поразительным образом – обо мне. Ах, почему я опоздала родиться! Или я, его сестра, всё же родилась в конце девятнадцатого века, но умерла от тифа, успев сказать ему только, что он, Юрий Олеша, очень красив? Брат

не поверил, но благодарно помнил об этом всю жизнь. А если бы сестра не умерла? Сумела бы поддержать его? Говорила бы, что он, её брат, гений? Впрочем, ему это говорил Катаев, говорили другие. Он не считал себя гением, мучился несовершенством, малым объёмом написанного: *«Меня слушает Пастернак, и, как замечаю я, с удовольствием. Он слушает меня, автора не больше как каких-нибудь двухсот страниц прозы; причём он розовеет, и глаза у него блестят! Это тот гений, поломанная статуя ворочается во мне – в случайной своей оболочке»*. «Случайной оболочкой», «поломанной статуей», «обломком гения» считал он себя и щедро восхищался другими: Есениным, Маяковским, Пастернаком, Катаевым, Грином… И ещё многими, многими – ныне забываемыми, почти забытыми… Мне горько и одновременно радостно об этом читать.

Он любил людей и зверей, птиц и цветы: *«Нет ничего прекраснее цветов шиповника!»* Но свой последний, прощальный привет он послал деревьям, назвав их самым прекрасным из того, что видел на земле: *«Я помню сосну на каком-то холме, пронёсшемся мимо меня в окне вагона… Сосна пронеслась мимо, навсегда, где-то в Литве, недалеко от Вильнюса… Я запомнил на всю жизнь это дерево…»* И я ехала в поезде «Москва – Вильнюс» году в семьдесят восьмом и тоже, должно быть, смотрела на эту сосну. Я ничего не знала тогда о писателе Юрии Олеше, стоит ли говорить, что девочка, у которой не было детства, не читала его сказок и даже не слышала о фильме «Три толстяка», но вот деревья, а особенно сосны, как и он, я любила всегда. Их раскинутые как для объятий ветви, их «румяные от заката» стволы в рыжих «лушпайках» – сгоревшие на солнце плечи.

В Москве Юрий Олеша и Борис Пастернак были соседями по дому в Лаврушинском переулке, как мы с Юрой Белоненко – в Ялте и с Анваром Фатыховым – в Подмосковье. Ах да, Олеша и Пастернак были в какой-то степени и земляками: ведь дед Пастернака – одесский извозчик. И Анна Ахматова родилась под Одессой, на хуторе Нерубайском, «на Одессщине»; Юрию Карловичу было «приятно думать», что они «с ней из одного края». Как близко всё, как всё «рядом, легко и впору сердцу моему», как горько и радостно смешались, перепутались, переплелись в братских объятиях люди и города, цветы и деревья, времена и книги.

«*Обязательно заканчивать,* – читаю я в середине книги «Ни дня без строчки». – *Начнём с короткого, чтобы легче закончить*».

Мне хочется взмолиться:

– Не надо ничего заканчивать, Юрий Карлович! Как я хочу, чтобы повесть о Вашем и моём детстве не закончилась никогда! И ещё я прошу Вас – не умирайте.

Олеша не умер. Мой брат, Юрий Карлович Олеша, не умер от инфаркта 10 мая 1960 года в московской больнице, где по свидетельству Валентина Катаева «*коснеющим языком… сказал врачам, переворачивавшим его на другой бок:*

– Вы переворачиваете меня, как лодку».

…Как лодку, как воспетую им одесскую плоскодонку, как греческую фелюгу или похожую на древнюю ладью скамейку у ялтинского театра.

Десятое мая шестидесятого года. Я уже есть, с другом детства Юрой Белоненко мы живём в Ялте на улице Чехова, нас возят в колясочках в городской сад, через шесть дней мне исполнится год, а Юре уже исполнился – он старше на месяц. Цветёт глициния, лезет на стены домов, на чопорные кипарисы, на ещё деревянные, а не бетонные, столбы с белыми перевёрнутыми «чашками» – керамическими электроизоляторами. Они рассажены на перекладинах попарно, как ласточки, и вот-вот сорвутся, унесутся в майски безоблачное южное небо. Глициния обвивает и провода, её обрубают, она не сдаётся – тяжёлыми виноградно-лиловыми гроздьями тянется ввысь, к солнцу и благоухает, благоухает… Её восхитительный пьянящий аромат смешивается с запахом лошади и керосина. По утрам на лошади, запряжённой в небольшую повозку, на нашу улицу привозят керосин для примусов. На асфальте остаются тёмные пятна. Скоро исчезнут и примусы, и лошадь, и керосин. Вместо этого появится газ, пока тоже

привозной, в баллонах. Играет на солнце, смеётся, слепит глаза наше самое ласковое, «самое синее в мире» море. Зная всё это, вспомнив это, мой брат Юрий Олеша не стал умирать. Он остался жить для того, чтобы вернуть мне детство. Детство, которого не было.

2010 г.

С перевалов Гиндукуша

Моим одноклассникам

Конечно, я никогда не была на этих перевалах. И Боже меня упаси! Но Афганистан, Афган, вошёл в жизнь моих ровесников так, что не вытравишь его из нас никакими перестройками.

Помню, в семьдесят девятом году, узнав про «ограниченный контингент», я, третьекурсница, совершенно по-бабьи пришла в ужас, хотя «Афган» не грозил никому из наших ребят, надёжно прикрытых военной кафедрой. Однокурсник Сашка с каким-то вдруг по-офицерски подтянувшимся лицом сказал строго: «Ты что, не понимаешь, что это наши границы?» Это было тем более неожиданно, что Сашка был диссидентом, то есть не настоящим, конечно, а так, мелкотравчатым, скорее слегка диссидентствующим, как все наши парни. Впрочем, не были ли таковыми тогда и все «настоящие»? Ну, там джинсы, фарцовка и «как надоело это всё», и мастерски изображаемый («Дорогие товарищи империалисты!») шамкающий Леонид Ильич. И конечно, фильмы Фассбиндера в «Иллюзионе», почему-то всегда с голыми неграми или арабами… И обязательные «Собачье сердце» и «Иван Денисович», даваемые для прочтения на одну ночь. А однажды притащили в общагу настоящий заряженный пистолет, и Сашка, как дитя, радовался моему неподдельному страху. Ну, ещё, разумеется, Галич, КСП и самое утомительное: так называемые «кабаки», то бишь «Метелица» на Калининском и «Космос» на Горького, как непременные атрибуты роскошной западной жизни. В этих кафешках мгновенно просаживалась вся стипендия и, устав от жизни такой, я выскочила замуж, как потом говорили «скоропостижно», за основательного медлительного Олега, который прежде, чем в перерыве между лекциями обратиться ко мне за чем-нибудь надуманным, ехидненько улыбался, поправлял средним пальцем очёчки на переносице и только после этого заводил: «Послушай, Танька…»

А потом в раннеперестроечную осень мы, три бездетные пока пары, каждый выходной бегали на Дальнее озеро, которое, как селезёнка, лежало под боком одного подмосковного Академгородка, в котором родился и вырос, и закончил физмат-школу, и куда распределился после института мой Олег. На озеро тащили специально купленный, грушевидный казан для каши, его ставили прямо в костёр на угли цвета переспевшего арбуза и варили пшёнку с китайской тушёнкой «Великая стена» или мою любимую крупу «Артек». Гречка тогда была в дефиците. Туда же, в костёр, пихали старый, общежитский ещё чайник, который за два-три сеанса приозёрного сидения покрылся такой восхитительно ровной и мягкой сафьянной копотью, что взгляд, с наслаждением погрузившись в её океанскую глубину, все медлил выныривать в наш пёстрый, сверкающий и, казалось, совсем не обязательный мир.

Свекровь возмущалась нашим, то есть моим (Олежек никогда ни в чём не виноват!) обращением с «вещью». Я же доказывала, что сие есть лучший способ упокоить его, чайникову, старость, а он это, безусловно, заслужил, потому как значительно старше нас с Олегом, ведь наш институт, а стало быть, и общежитие ведут свое начало от… Подоспевший Олег деликатно прерывал мои разглагольствования каким-нибудь неромантическим уточнением, что чайник-де никак не может быть старше нас, потому что ещё в общежитии он, Олег, якобы углядел через свои очки клеймо на донышке «1962». Шестьдесят второй год – Карибский кризис! Тогда чуть не началась война, а нам с Олегом было по три года, и о тех днях у нас не осталось никакого воспоминания. Зато я хорошо помню шестьдесят девятый год, конфликт на острове Даманский. Не сам конфликт, конечно, а то, как мой папа напряжённо всматривался в казавшиеся особенно страшными из-за своей одинаковости свирепо-воодушевлённые лица китайских солдат на маленьком экране нашей чёрно-белой «Верховины». Был тогда такой телевизор.

А в 1987 году мы пели на озере. «Наш костёр в тума-а-ане светит…» – выводила поставленным голосом Людочка. Басил Лёшка Терновский, дирижируя кружкой с сухим вином. Олег подпевал блеющим тенорком и страдальчески морщился, как бы уточняя и подправляя. Несчастный награждён абсолютным слухом и мучительно реагирует на малейшую фальшь. Я в этом обществе не смела и рта раскрыть. Пела про себя, а чаще, пятясь, отходила от костра, заглядывала в темнеющую озёрную воду, засматривалась на зубчатый лес на другом берегу, и почему-то перекатывалось во рту и ёкало в груди старинное слово «окоём» и было так созвучно и тёмной воде, и лесу, и тонкому молодому месяцу, повисшему в неподвижном ёмком воздухе…

В один из таких тихих вечеров, уже в начале ноября, после всех перепетых романсов Лёшка ни с того, ни с сего радостно загорланил:

Зачем же так, Кармаль Бабрак?
Зачем ты вызвал наши танки?
Ведь будут плакать наши Таньки,
За просто так, за просто так…

Олег восторженно подхватил. Лёшка, по-видимому, принес эту песню со своего «физтеха», потому что мы с Олегом никогда её не слышали. Худенький белобрысенький Терновский (двадцатисемилетний кандидат физмат наук с уже – мы знали – написанной докторской диссертацией), да и мой рыхлый, очкастый, с ранними залысинами Олег так не вязались с молодецки исполняемыми «танками», что мы с Людочкой то и дело прыскали в эмалированные кружки, а Анька Терновская счастливо и затаённо улыбалась. Внезапно вспыхивающий костёр вдруг выхватывал из темноты то Анькину щёку с ямочкой, то родинку над губой… В песне были поразившие меня слова: «Ведь с перевалов Гиндукуша Индийский виден океан…»

– Неужели действительно виден?

– Вряд ли. По-видимому, художественный образ, – подумав, ответствовал честный и математически точный Терновский.

А дым от костра, в течение двух месяцев до этого уходивший прямо в небо задорной трубой, похожей на хвост распушившегося кота, вдруг забе́гал по кругу, полез в глаза. Мы, смеясь, пересаживались, расплёскивали вино, и каждому казалось, что дым гонится именно за ним. А потом сообразили, что такой тёплой, сухой и безветренной осени никто из нас не помнит, а ведь каждому, слава Богу, уже под тридцать. И никогда не видать нам Индийского океана. И почему-то была во всём этом светлая беспричинная грусть и беспокойная, как перед дальней дорогой, радость.

– Да зачем тебе этот океан? – удивлялся обожавший своё Подмосковье Олег. – Смотри, как тут хорошо. А летом в Крым поедем.

Конечно, мы ездили в Крым (я, кстати, родом оттуда) и таскали по растрескавшемуся от жары и звенящему цикадами Меганому тёмно-зелёные бутылки с «Алиготе» и пластиковые канистры с водой, которую мы воровали из цистерн, привозимых в прибрежное местечко с солёным рыбацким названием Капсель. А на самом верхнем, выветрившемся и как бы изъеденном оспинами утёсе бесшумно поворачивался радар, и солдатики поглядывали в свою, надо думать, мощнейшую «пограничную» оптику на девиц, «нудевших» там, внизу, у кружева прибоя. На востоке угадывался запавший зачем-то в мою бездонную память волошинский «зубчатый окоём» и нестерпимо синело такое ласковое и родное «самое синее в мире Чёрное море моё». И я, смеясь и щурясь от ликующего синего блеска, рассказывала Олегу и Лёшке, как именно эту песню громко, с чувством запел в церкви мой одноклассник Витька Варенцов, когда его, семилетнего, привела на службу бабушка, и музыкальному Витеньке очень понравилось, «как они там поют».

Олегу с его линзами в «минус шесть с половиной» никакой Афган не грозил и без «военки», как называли наши мальчишки соответствующую кафедру с безжалостно высмеиваемым «товарищем подполковником». Но и из одноклассников моих сразу после школы загремел в армию только один – Славка Комаров. И, к счастью, не в Афганистан.

За малый рост Славку забрали в подводники. Вертлявый, с зычным голосом, отчаянно хулиганивший в школе Комар обошел на своей подводной лодке полмира и писал нашей классной руководительнице Лидии Васильевне такие «уполне сознательные» письма о величии советского флота, о нерушимости надёжно охраняемых Комаром границ и об умопомрачительной красоте дальних стран и морей, которые, впрочем, и в подмётки не годятся нашему «самому синему», что моя матушка как-то осторожно заметила, не под диктовку ли политрука пишет эти замечательные письма весь доблестный подводный экипаж. Я с негодованием пресекла: «Наш Комар никогда, ни под какую диктовку…»

После армии Славка закончил знаменитый на весь Союз судостроительный институт и очень быстро стал главным инженером не менее знаменитого, несмотря на «закрытость», предприятия, выпускавшего что-то такое секретное для этих самых подлодок. «Ну и выпивает, конечно, не без этого», – с непонятной гордостью сообщала Лидия Васильевна. А в перестройку Славкин сверхсекретный «ящик» мгновенно развалился на множество подозрительных кооперативчиков, и я в редкие приезды на родину боялась спросить нашу вдруг резко постаревшую учительницу, где теперь работает и как «выпивает» Комар. Потому что наш Славка никогда, ни в какие кооперативы…

Помню, тогда же, на заре перестройки мы с мамой пошли в гости к бабушке и дедушке. Старое кладбище нашего южного города оказалось поделённым колючей проволокой, как Славкин «ящик», на участки, иные из которых даже охранялись зачем-то собаками, и потому мы здорово поплутали, пробираясь к могиле деда, умершего в шестьдесят втором. Мы бродили по огромному полю, уставленному такими великолепными памятниками, что было ясно: их могли возвести только осиротевшие родители, у которых совсем ничего не осталось на свете, кроме этого клочка земли. С каждого памятника смотрело юное лицо в «битловских» вихрах и я, ничего не понимая, как в бреду читала: «студент Таврического университета, родился в пятьдесят восьмом (или в пятьдесят девятом – о, Господи, это же мой год!), трагически погиб в восьмидесятом, восемьдесят первом, восемьдесят втором…»

– Мама, что это?!

– Афганистан, – тихо и твёрдо, как пароль, выговорила мама.

Как же я могла забыть! В Таврическом университете не было военной кафедры.

Думаю, моих одноклассников уберегла от этого кладбища та же Лидия Васильевна. Коренная москвичка, приехавшая к нам с мужем-военврачом (вверенный его руководству госпиталь до сих пор называется «КЧФ», что значит «Краснознаменный Черноморский Флот»), она класса с пятого заклинала нас, что учиться можно только в Москве. Мы и разбрелись почти всем классом по московским, преимущественно техническим вузам – Лидия Васильевна преподавала математику. Мишка Пестерев даже покорил мехмат, но был изгнан с четвертого курса за вздорный характер и, возможно, чрезмерное увлечение КСП. Как же, и в нашем институте на концертах Никитиных и Мирзаяна в переполненной Большой физической аудитории девочки валились в обморок от духоты, а в двери всё напирали и напирали… Ну и Пестерев тоже, конечно, загремел. Слякотным мартовским днём восемьдесят первого мы с двумя одноклассницами ехали на электричке в Наро-Фоминск – Мишка обретался в Кантемировской дивизии. Наш служивый величаво принял торт и пустился в тонкие намёки, что, мол, они «с мужиками» намерены подать рапорт о переводе сами понимаете куда, потому что надо испытать себя в настоящем деле, а то «так надоело это всё» и прочая, прочая… Пестерев тоже был диссидентствующий. Мы дружно верещали: «С ума сошёл, Пестер! И не думай!» И – обошлось. Не молитвами ли Лидии Васильевны?

А через пару лет после той баснословно сухой и тёплой осени, когда мы пели у костра на озере Дальнем, будущий подмосковный губернатор выводил наши войска из Афганистана и все, глядя в телевизор, радовались как-то тревожно и смутно. А ещё примерно через три года после окончания войны и ровно через месяц после того, как не стало моей страны, я летела в полупустом самолёте над перевалами Гиндукуша в командировку в Бомбей. С такой высоты жёлто-серые складчатые афганские горы казались натруженными ступнями добродушного старого слона. И я вспомнила, что почти такими же тяжёлыми жёлтыми складками сползает в самое лучшее на свете море у других наших бывших границ мыс Меганом.

Вот, собственно, и весь Афган в моей жизни. Разве вот ещё что. В девяносто восьмом я развелась с Олегом, и сразу же возник какой-то идиотский раздражающий роман с бесконечным висением на телефоне и тягучими разговорами о смысле жизни и о том, что «нехорошо человеку быть одному». Подруги говорили: «Ты, что?! Через год – сорок, последний шанс». Некстати вспоминалось из михалковской «Родни»: одинокая женщина – это неприлично! Я решила посоветоваться с никогда не бывшей замужем подругой.

– Галя, как удаётся тебе сохранять такое спокойствие? Ведь нехорошо человеку быть одному, а особенно женщине, и в наше время, и вообще…

– Таня, ну, о чем ты думаешь, – как-то застенчиво и без пафоса сказала моя обычно бескомпромиссная Галина. – Мы же русские женщины, а России всегда приходилось воевать… Наши женихи в Афганистане погибли.

И тогда на какое-то пронзительное, исполненное высокого смысла мгновение я превратилась из взбалмошной разведённой дамочки в спокойную вдову студента Таврического университета, лежащего на перегороженном колючкой кладбище родного города, на самом краю уже нового и чужого государства.

«Зачем же так, Кармаль Бабрак?..»

Индийский океан? Он разочаровал меня: блёкло-синяя настороженная гладь врезалась у берега в хищные чёрные камни. «Но ведь здесь, в Бомбее, – утешала я себя, – это и не океан ещё, а Аравийское море». И только опрокинутый на спинку, рожками вверх, мусульманский месяц вполне оправдал мои ожидания.

2007 г.

Наша бабушка лучше

Моей маме Ольге Михайловне Яблонской

Мы с Женькой сидели на кухне и ругали бывших мужей. И свекровей. Тоже бывших, разумеется.

– Извини, но и твоя мама хороша. Мне кажется, вы бы с Игорем не развелись, если бы не она.

Женька не возражала. А что тут возразишь? Я хорошо знала её маму, Ирину Михайловну, необыкновенно шумную и активную даму. В пятидесятые, до нашего с Женькой рождения, Ирина Михайловна была, судя по всему, «тургеневской девушкой», мечтательно сидела с раскрытой книжкой в городском саду у театра имени Чехова. Мы ведь все ялтинцы: Ирина Михайловна, Женька, я и даже Женькин сын Серёжка. Женька, к возмущению Ирины Михайловны, родила Серёжку, когда училась в аспирантуре. Они с Игорем жили тогда в общежитии, и Женька приехала рожать к маме в Ялту.

– Какая безответственность! – говорила мне Ирина Михайловна. – Юля, я полагала, что вы разумный человек, почему вы не удержали Евгению от этого дикого шага? Ведь это преступно по отношению к ребёнку!

Сама Ирина Михайловна отнеслась к деторождению более чем ответственно: родила Женьку в тридцать пять лет, да и то, кажется, только потому, что вняла мольбам Анатолия Сергеевича, Женькиного папы.

Они были настоящими ялтинцами, Женькины родители, настоящими крымчанами, хотя Анатолий Сергеевич приехал в Крым только после войны, в сорок шестом, поступать в институт. А Ирина Михайловна жила в Ялте с тридцать восьмого года, училась вместе с будущим мужем в том же Крымском сельскохозяйственном институте и знала Крым «как свои пять пальцев» – главным образом потому, что после института ей, молоденькой и бездетной преподавательнице техникума, поручали организовывать для студентов сельскохозяйственную практику. Вот и пришлось «тургеневской девушке» мотаться на «полуторках», а иногда и трястись на телегах по самым отдалённым степным совхозам.

Анатолия Сергеевича распределили в колхоз на северо-западе полуострова, в Черноморском районе.

– Там ведь одни солончаки, – рассказывал он нам с Женькой, – а у меня специальность «виноделие и виноградарство». Ира, ты помнишь, у нас курсовая была, «Производство шампанских вин»?

Ирина Михайловна не помнила, хотя в своё время год отработала дегустатором в «Магарараче», Всесоюзном Институте виноградарства и виноделия. Больше года работать дегустатором нельзя – сопьёшься. А дело-то, в общем, нехитрое – не наука, а скорее, искусство. Анатолий Сергеевич быстро научил Женьку определять букет вина, вкус, сахаристость, ещё какие-то параметры.

Почти каждый год Женькины родители брали «учительские» путёвки в техникуме, где Ирина Михайловна преподавала биологию. Ездили, например, на родину родителей Ирины Михайловны в Молдавию, по Волге, на Кавказ… Позже, когда мы с Женькой уже учились в институте, Анатолий Сергеевич и Ирина Михайловна плавали на теплоходе по Енисею и Лене. Все удивлялись – как это вы из Ялты на север отдыхать, зачем? А они, наверное, любили север любовью южан. Анатолий Сергеевич тоже был с юга, из Ростовской области. Но, конечно, лучшим местом на Земле считался Крым.

Мне казалось, что Анатолий Сергеевич знает в Крыму не только каждый колхоз, но и каждый камень, каждую тропку в горах. Мои-то родители приехали в Ялту в пятьдесят восьмом,

по распределению. Папа хорошо знал только Южный берег, он занимался строительством дамб для укрепления побережья, а мама сидела за кульманом в квадратном, выложенном белыми плитами здании «Ялтаспецстрой».

В том далёком пятидесятом, Анатолия Сергеевича с миром отпустили из колхоза в Черноморском районе.

– Вы винодел? Очень хорошо, мы тут как раз виноградник собираемся посадить, – принялся рассказывать председатель.

– Не вырастет, у вас здесь и картошка еле растёт.

– Ну, зачем же вы так говорите?

– Научили, вот и говорю.

После так и не состоявшегося дебюта агронома Анатолий Сергеевич поступил в Симферополе в аспирантуру. Тогда каждое лето в экспедицию по Крыму отправлялись молодые ботаники, зоологи, географы, геологи, археологи, этнографы… А вечером у костра сотрудники разных отделений Крымской академии наук рассказывали друг другу всё, что ещё удалось найти, узнать о любимом полуострове. Женькин папа всё помнил и хранил, как некий завет. Вот только разговорить его было нелегко. Может быть потому, что уж очень разговорчивой и по-южному громкоголосой была Ирина Михайловна.

– Толя, Толя! – слышны были крики ещё на подходе к их квартире, на первом этаже старого ялтинского дома, в шумном дворе с бельём на верёвках, протянутых от отрешённых тёмноликих кипарисов к раскидистым разбитным тёткам-шелковицам. Так Ирина Михайловна буднично общалась с мужем.

Серёжка до пяти лет жил у бабушки и дедушки. Долго не говорил. Врачи сказали, что со слухом и прочим развитием всё нормально.

– Может, он слышит мало слов? – предположила Женька.

– Звуков достаточно! – отрезал Анатолий Сергеевич.

И действительно, Серёжка заговорил сразу сложноподчинёнными предложениями, с видимым удовольствием употребляя разные «кстати», «между прочим…» Деда звал исключительно Толей. «Толя, Толя!» – чуть что кричал на весь двор с бабушкиными интонациями.

Ирина Михайловна, в отличие от мужа, рассказывала много, охотно и с юмором. Она продолжала ходить по Крыму в походы со своими одноклассницами – такими же, как она, интеллигентными, моложавыми и крайне активными агрономшами, учительницами, врачихами. Чаще всего ходили на Ай-Петри. По традиции. Нас с Женькой поражало, что в конце сороковых годов у ялтинских школьниц, как рассказывала Ирина Михайловна, было принято ходить на Ай-Петри встречать солнце. Девочки выходили из города поздно вечером, чтобы к восходу быть на ай-петринских зубцах, торчащих над Алупкой, как пальцы, сложенные в виде латинской буквы «V» – victory, победа! В наши-то школьные годы, в семидесятые, не то, что на Ай-Петри, ночью и в Приморский парк было страшно зайти. Но зато теперь, доехав на троллейбусе до Алушты, можно подняться на Демерджи, который называется «Екатерин-горой» для бестолковых курортников и за каменный профиль императрицы, смотрящей на море с задорным и гордым видом. Троллейбус из Симферополя в Ялту пустили как раз в тот год, когда родились мы с Женькой.

– Следует различать Южный и Северный Демерджи, – учила Ирина Михайловна. – Там совершенно разный климат, в каждой части своеобразный растительный мир…

Да, помню, Женька как-то в запальчивости заявила своему Игорю:

– Крым так же неисчерпаем, как и атом!

Впрочем, и Игоря, и моего будущего мужа не пришлось долго агитировать. После первого же похода они стали даже более ревностными патриотами Крыма, чем мы. Помню, решали вопрос, куда лучше пойти – в Большой Каньон или в Коктебель.

– Конечно, в Коктебель! – в один голос сказали Женькины родители.

Мы прошли от Феодосии до Алушты: Тихая бухта, Коктебель (он тогда назывался Планерское, но все по старинке звали его Коктебелем), Лисья бухта, Меганом, Судак, Новый Свет…

– Мама, папа, в каком чудесном селе мы были! – сказала, вернувшись, Женька.

– Знаем – Весёлое!

Мы свалились в это благословенное место с какого-то холма, покрытого густым, приземистым лесом, нещадно царапавшим наши голые локти и колени. Во все стороны расстилались виноградники, между ними вилась отличная асфальтовая дорога к слепящему глаза, во всю ширь блистающему морю. А в самом селе на площади с каменным бассейном стояла совхозная столовая, в которой после голодного, макаронно-тушёночного пайка на Меганоме мы с удовольствием ели необыкновенно вкусный борщ из баранины, котлеты из баранины с картошкой и бараньей же подливкой, огромные, шлемообразные как «будёновки», растрескавшиеся по донышку и сочащиеся бурым соком переспевшие помидоры…

– Они назывались «бычье сердце», – ностальгически вздыхает Женька.

– Почему же «назывались»? Они и сейчас есть, – спохватываюсь я.

И был (да, наверное, и сейчас есть) ещё один сорт помидоров с изысканно-ядовитым терпким вкусом и таким же диким как вкус, зелёно-оранжевым окрасом, наливающимся откуда-то изнутри свирепой мухоморьей краснотой… «Чёрный принц»?

– Да, – как эхо откликается Женька, – Чёрный принц…

– А помнишь, Женька, как твоя мама (ей было уже за семьдесят) рассказывала, как они с приятельницей забрались на скалы за Симеизом: «Ах, какой воздух! Какие виды!». Пришли два пограничника с огромным ньюфаундлендом, именуемым в просторечье «водолазом»: «Пограничная зона! Не положено!» А они слезть-то и не могут. Чёрный «водолаз» весело лаял и, как флагом, приветственно размахивал мохнатым хвостом. Мальчики долго снимали бабушек со скалы. Служивый пёс принимал в этой операции самое активное участие – вилял хвостом, толкал всех по очереди мокрым носом и время от времени оглушительно гавкал.

Но мне всё же больше нравились рассказы Ирины Михайловны из её молодости. Например, о балаклавском туалете. Собственно, это было не в самой Балаклаве, а где-то на подъезде к ней, среди оглушительно звенящих цикадами, каменистых, обдуваемых горячими ветрами полынных холмов. Время действия – пятьдесят первый или пятьдесят второй год. Анатолий Сергеевич учится в аспирантуре и, возможно, ещё не помышляет о женитьбе, а Ирина Михайловна направлена в командировку в винодельческий совхоз. Она снимала угол у старушки-гречанки. Дом стоял в балочке, а дощатый сортир – далеко и высоко на холме, к нему вела длинная, извилистая, выбеленная солнцем дорога. Вид от этого туалета на окрестные холмы и причудливо изрезанные бухты – захватывающий! А сам туалет и дорога к нему тоже, конечно, были видны отовсюду.

В Севастополе Ирина Михайловна познакомилась с двумя молодыми инженерами. Они тоже недавно окончили вуз, работают в Балаклаве, очень увлечены работой, о которой, впрочем, особо не распространяются – государственная тайна. Несколько раз в неделю молодые люди поднимались по горным тропкам, долго шли в наплывающих, звонких сумерках по степи. Душно и остро пахло мятой и чабрецом, чертополох цеплялся за широкие с отворотом брючины, горячий ветер развевал короткие галстуки, трепал стриженные «под боб» и тщательно зачёсанные назад волосы… Сероглазой Ирине с чёрными бровями вразлёт, с толстыми русыми косами, переброшенными на грудь или уложенными на затылке «корзинкой», обязательно приносили цветы, конфеты… Ирина Михайловна не могла решить, кто из молодых людей ей нравится больше, но они и не торопили её с выбором. Беседовали о литературе, о музыке, планировали поездку в севастопольский театр… Во дворике под крупными звёздами долго пили чай с абрикосовым вареньем. Внизу, в опрокинутой чаше моря деловито перекликались корабли,

небо внезапно крест-накрест перечеркивали прожектора, отдалёнными огнями полыхала всю ночь севастопольская стройка – белокрылый красавец-город поднимался из руин.

– Ириночка, что же вы не угощаете кавалеров? – говорила хозяйка. – А ваша мама из алычи не варит? Кушайте, с грецкими орехами…

Однажды Ирина Михайловна побежала на холм в туалет и уже на самой вершине заметила подходящих к дому ухажёров. Идти к ним по белой дороге из туалета, красовавшегося на открытой всем ветрам верхотуре, для «тургеневской девушки» было немыслимо. Решила переждать, пусть думают, что она уехала. Ждать пришлось долго. Наконец молодые люди ушли, оставив букетик синеглазой лаванды с отчаянным её, наповал разящим запахом и коробку «пьяной вишни». Смущённой хозяйке, бормотавшей: «…уехала Ириночка, кажись, машина была, я-то глухая, не слышу…», было сказано:

– Передайте Ирине, что она может не прятаться от нас в туалете. Мы и так больше не придём!

– Что ж ты, Ирка, просрала женихов! – хохотнул сосед дядя Петя.

Благословенный дощатый сортирчик! Кто знает, если бы не он, может, не было бы на свете ни моей Женьки, ни Серёжки. Наверное, родились бы какие-нибудь другие, тоже очень хорошие люди, но что мне до них… А если бы мои родители не встретились? Нет, это невозможно себе представить! Никто, кроме них двоих, не мог вызвать меня и младшего брата Димку из небытия.

Когда родился Димка, моя мама, пожалуй, перещеголяла Ирину Михайловну в смысле «ответственности за ребёнка». Димке не давали шагу ступить, маме всё время казалось, что он болен. Пришедшего с работы папу порой встречал отчаянный крик: «Ребёнок болен! Что делать?!» Фрукты для Димки мыли отдельно, чуть ли не с мылом, трижды обдавали кипятком. «Эта-то здоровая!» – пренебрежительно говорилось обо мне знакомым, а вот Димочка… Бедный мой брат! Мне, как старшей и «здоровой», поручалось следить за ним. Это чрезвычайно мешало жить полноценной жизнью: мне – прыгать в расчерченных мелом «классиках», а Димке – гонять «на велике» вдоль нашей Московской улицы в компании разновозрастных мальчишек с разбитыми коленками и облупленными носами.

– Юля, он же потный! – в ужасе кричала возвращавшаяся с работы мама, выловив Димку во дворе и бесцеремонно запуская руку к нему за шиворот.

Упирающегося Димку тащили домой, вытирали, переодевали, мерили температуру. Закрывали все окна – «сквозняк, продует!» Однажды – мы учились в девятом – к нам зашла Женька.

– А это что такое?!

На чайнике, важно попыхивающим паром на медленном огне, стоял арбуз.

– Это мама арбуз греет для Димки, чтобы он горло не простудил.

– Ну, вы даёте! Даже моя мама до этого не додумалась.

Ирина Михайловна тоже мыла фрукты кипятком и класса до восьмого проверяла, не потная ли Женька, но арбуз на чайнике был исключительно нашим, фамильным изобретением. За прошедшие с той поры тридцать лет мало что изменилось. Сорокалетний Димка чрезвычайно заботится о своём здоровье, каждый вечер гуляет по набережной в безукоризненно отглаженных мамой брюках, по выходным играет в теннис. Некоторое время вроде встречался с какой-то дамой, но так и не женился. А зачем ему? Мама даже кофе в постель подаёт ему по утрам.

А Женькин Игорь и мой бывший – вообще единственные сыночки. Удивительно не то, что мы с ними развелись, а то, что они всё-таки женились. Игорю-то хоть от тёщи иногда доставалось.

– Помнишь, Женька, как мы напились на глицинии? Вы с Игорем тогда Серёжку в первый раз увозили из Ялты.

– Ещё бы! Это даже Серёжка помнит.

– Быть не может! Ему же пять лет было.

– Ещё как помнит!

Конец августа, вкрадчиво шурша, осыпалась акация. Женька, Игорь и Серёжка уезжали на следующий день. Серёжку впервые в жизни отрывали от бабушки. Ирина Михайловна собрала невероятное количество вещей, увязала даже верблюжье одеяло:

– У них же там дует из всех щелей! Юленька, прошу вас, проследите, чтобы они заклеили окна.

Я обещала проследить. Наконец, мне удалось вытащить Женьку и Игоря на набережную – попрощаться с морем. Встретили одноклассников, Мишку и Славика. Сначала сидели на пирсе, а когда стемнело и с моря подул ветер, ещё тёплый, но с искусно вплетённой в его солёную пенную гриву леденящей струйкой, перебрались к театру на глицинию. Мы с Женькой раскачивались на ней как на качелях. Мишка доставал из большой чёрной сумки пластмассовые стаканчики и портвейн «Алушта», бутылку за бутылкой. Игорь смотрел очень серьёзно, поправлял очки на переносице. Женька капризничала: «Я не могу пить без закуски!» Славик бегал в «Гастроном» за печеньем. Внезапно Игорь стал совершенно невменяемым, прямым и негнущимся, как манекен, глаза остекленели, и казалось, что на манекене две пары очков, а глаз нет совсем. Мы с Женькой кое-как довели его до дому, уложили на диван.

– Что же вы так… неудачно! – сочувствовал Женькин папа.

Ирина Михайловна негодовала:

– Евгения, как ты могла?! В последний день!

– Мама, ну и что, что в последний? Всё давно собрано.

– В конце концов, Евгения, это твой муж и… делай как знаешь! Но позвольте, Юля, вы же вместе пили, не так ли?

– Конечно, Ирина Михайловна, мы совсем немножко. Славика встретили, Мишку, вы ведь их помните? Славик у нас старостой был, – лепетала я.

– Почему же вы обе совершенно трезвые, а Игорь такой пьяный?

– Мама, мы же женщины!

– Да, действительно, – совсем было успокоилась Ирина Михайловна, как вдруг её поразила страшная мысль:

– А если Игорь умрёт?! Кто же тогда понесёт вещи?!

Мы хохочем. То есть это мы теперь хохочем, через двадцать лет. Женька вспоминает, как они тогда ехали, везли Серёжку в Москву.

По традиции прощались с Крымом у быстро пролетающей мимо поезда стелы на берегу Сиваша, который обрывался здесь резким, острым углом. Стела была выполнена в виде раскинувшей крылья чайки с надписью «Крым». Все напряжённо всматривались в окна. Почему-то было очень важно, уезжая, не пропустить её и столь же необходимым считалось не прозевать при въезде точно такую же стелу на другой стороне дороги: «Вот она! Крым! Наш Крым! Ура!» В Мелитополе и до этого, в Джанкое, обязательно покупали вёдрами овощи-фрукты у набрасывающихся на поезда тётенек. Тянулись полями подсолнухи – все с одинаково поникшими от зноя головами. Ну и жара, если даже подсолнухи… А под Павлоградом горела степь. В низине у железнодорожной насыпи трава была густой, матовой, тёмно-зелёной. Перед ней светлой колоннадой вставала стена огня, а позади, на выжженной чёрной земле – пепел серебряными разводами, как соль Сиваша. Трепещущие струйки пламени казались зрячими, удивлёнными, испуганными. Себя ли боялись? Собственной яркой, непокорной, избыточной силы? Или травы, которой ещё не осмеливались коснуться? Спокойной, тусклой, невозмутимой, погружённой в свой тайный глубинный рост… Вдруг вспомнилось: «Стань передо мной как лист перед травой!» Откуда это?

– Так Иван-дурак Конька-Горбунка вызывал! – немедленно дал квалифицированное разъяснение пятилетний Серёжка.

Да, пламя в степи стояло «как лист» перед травой… А на другой день, под Орлом потянуло яблочной свежестью, и грибной сыростью – под Тулой. Промелькнула в окне вагона рыжая сосна, беспомощно откинувшаяся назад, как женщина с густыми, распущенными волосами, совсем не похожая на своих стройных перламутрово-ствольных крымских сестёр. «А это что за дерево? Сосны такими не бывают», – не верил Серёжка. Грибники в ожидании электрички расположились на обочине в непринуждённых позах «Охотников на привале». И вот уже, как вчера на Сиваше, весь вагон взволнованно и радостно приникает к окнам: «Москва! Москва!» Выйдя на платформу Курского вокзала, Серёжка испуганно говорит:

– У меня руки как лёд!

Женька тоже испугалась: «Вдруг и вправду заболеет!», но сказала спокойно:

– Ничего страшного. Ты тепло одет…

Внезапно в кухню врывается Серёжка. Теперь ему почти двадцать пять.

– Мама, тётя Юля! Вы помните фильм про Буратино? Помните, кто там играл лису Алису?

– Кажется, Елена Санаева… Фильм-то толком я не видела, так, какие-то отрывки… Юля, ты видела?

– Не помню, кажется, нет. Но он точно снимался у нас, в парке «Ай-Даниля». Это санаторий такой, Серёжа, знаешь, по дороге в Никитский сад…

– Да нет же! – перебивает Женька. – «Ай-Даниль» за Никитским, ближе к Гурзуфу, а «Буратино» снимали в «Сосняке». Там ещё сосны такие прямые-прямые, с дороги видно. Мы же их всегда проезжаем!

Ни «Сосняк», ни «Ай-Даниль» Серёжка не помнит, но дело не в этом. Дело в том, что он сейчас читает на ридере книгу Павла Санаева «Похороните меня за плинтусом» и находит поразительное сходство между бабушкой Санаева и Ириной Михайловной! Ирина Михайловна тоже мыла кипятком и без того размякшую, осклизлую вишню, кутала внука в шерстяные штаны и шарфы, без конца мерила температуру, проверяла, не потный ли он, смотрела горло и…

– Но наша бабушка лучше! – кричит Серёжка. – Помнишь, мама, когда я учился в первом классе, ты уехала на месяц в командировку, а когда вернулась, бабушка не хотела меня отдавать?

– Ещё бы я не помнила! Она и продержала тебя в Ялте целых полгода, до сентября. Я места себе не находила!

– Но через полгода ведь отдала, хоть и говорила: «Они погубят ребёнка!» А бабушка Санаева забрала его, кажется, как раз во время съёмок «Буратино», а отдала только, когда ему было двенадцать лет. И сама вскоре после этого умерла. Нет, наша бабушка намного лучше! Мама, а ты помнишь, как бабушка вызвала для папы «скорую помощь»?

И Женька с Серёжкой, смеясь и перебивая друг друга: «Нет, мама, не так!», «Да как ты можешь это помнить, ты же был совсем маленький!», рассказывают.

Серёжке было четыре года, он переболел ветрянкой, выздоровел, уже и пятна зелёнки выцвели. Но тут приехали Женька с Игорем, и Ирина Михайловна заявила, что Серёженька ещё не совсем оправился от болезни – чтобы легкомысленные, безответственные родители не вздумали тащить ослабленного ребёнка на море.

А тут и Игорь, здоровый, в общем-то, мужик, перегрелся, что ли, или действительно какой-то вирус подцепил. Во всяком случае, вечером у него вдруг поднялась температура. Чуть ли не до сорока. Серёженька был немедленно изолирован, то есть помещён в отдельную комнату: «Не смей подходить к папе, он заразный!» Ослабленный ребёнок развлекался тем, что с разбегу бросался на дверь, запертую на крючок, и вопил во всю глотку: «Выпустите меня!» Женька всю ночь мазала мужа уксусом с постным маслом и – о, чудо! – утром у Игоря тридцать шесть и шесть и чувствует он себя превосходно.

Однако Ирина Михайловна, принципиально отвергавшая лёгкие пути, заявила, что необходим врач. Ведь вчера было почти сорок, а главное, ей что-то не нравится Серёженькино горло – какое-то покраснение, вдруг он заразился?! Да и у неё самой побаливает нога. В доме трое больных! Вызвали «скорую помощь».

Дальше – сцена, достойная пера Тэффи. Женька на кухне варит Серёжке манную кашу. Игорь как больной лежит в кровати. Серёжка гремит дверью: «Выпустите меня!»

– Мама, сколько ложек сахару? – кричит из кухни Женька.

– Что?! Я не слышу! – ещё громче отвечает Ирина Михайловна. – Серёжа, не смей! Игорь, скажите ему! Толя, Толя! Что ты будешь на завтрак? Яичницу будешь?

А Анатолий Сергеевич невозмутимо читает газету.

Тощий, нервный, бледный почти как его халат, но в отличие от просто белого халата, ещё и с какой-то прозеленью в лице, доктор «скорой помощи» долго звонил, стучал, снова звонил…

– Они дома, дома! – сказали соседи, завтракавшие во дворе за большим деревянным столом под инжиром. – Вы лучше в окна кричите. Ирина Миха-ална-а! Женич-ка-а!

Соседи, наконец, были услышаны, а доктор впущен.

– Ах, доктор, извините! Видите, как у нас – голова кругом… Прошу вас сюда, помыть руки… Женя, Женя! Дай доктору полотенце! Нет, не то! На нижней полке! Да, доктор, представьте, у нас трое больных. Нет, тяжёлый один. Ребёнок перенёс ветрянку, и я волнуюсь, не мог ли он заразиться…

– Мальчик здоров, – кротко сказал доктор, мельком взглянув на Серёжку.

– А горло, доктор?! Вы же не посмотрели горло!

– Открой рот! – сказал доктор с ненавистью.

Серёжка приятно улыбнулся и спрятался за портьеру.

– Серёжа, не смей! Портьера пыльная! А вдруг аллергия?! Евгения, я же просила тебя пропылесосить! А вы, Игорь, ещё в прошлом году мне обещали вынести в сарай эти книги… Вот и читали бы в сарае! Доктор, а вдруг астма?! Разве не может быть? От пыли!

Серёжка завернулся в портьеру.

– Игорь, вы же отец, скажите ему! Нет, не подходите, вы заразный! Толя, Толя! Скажи хоть ты ему!

– Хе-хе-хе! – сказал Анатолий Сергеевич, не отрывая глаз от газеты.

– Серёжа, не смей! Евгения, где же ты? Я не могу с этим ребёнком!

Женька выскочила из кухни. Оттуда немедленно потянуло пригоревшей кашей. Серёжку выпутали из портьеры. Доктор сказал, что горло хорошее.

– Но вы так не увидите, доктор! Надо ложечкой! Женя, дай доктору ложку! Скорее! Нет, не эту! Этой Игорь вчера варенье ел – «изюм-эрък», я видела! Евгения, что же ты?! Каша горит!

– Очень хорошее горло, – повторил доктор и поспешно двинулся к выходу.

– Доктор, доктор! Куда же вы?! У нас ещё один больной! – резво догоняя его, кричала Ирина Михайловна.

– Кто это? – подозрительно спросил доктор.

Ирина Михайловна выждала, пока доктор остановится, и после эффектной паузы скорбно и торжественно объявила:

– Ах, доктор, это я!

– Что случилось? – измождённая физиономия доктора выражала покорность судьбе.

– Ах, доктор, представьте, я ездила в Рыбачье! На катере! Доктор, вы были в Рыбачьем? Какой воздух! Не правда ли? Не то, что в нашей Ялте – машины, толпы людей… Я здесь просто задыхаюсь!

– Ну?

– Вы знаете, доктор, был небольшой шторм, а там, в Рыбачьем, такая крупная галька… Доктор, мне кажется, что, выходя из моря, я растянула ногу…

– Хе-хе-хе! – сказал Анатолий Сергеевич.

Доктор, затравленно озираясь, нёсся к дверям.

– Мама, а Игорь? – крикнула Женя из кухни.

– Доктор, куда же вы?! – бросилась за доктором Ирина Михайловна. – А третий больной?! Я совсем забыла… Температура сорок!

– Где? – приостановился доктор и тяжело задышал.

Снова эффектная пауза и столь же театральный, плавный, указующий жест:

– Вот, пожалуйста! Мой зять Игорь!

Игорь, толстый, плечистый, загорелый, сидит в кровати и ест яблоко. Доктор ещё больше позеленел, подпрыгнул, плюнул и умчался.

– А ведь мама к Игорю довольно неплохо относилась, – говорит Женька, – по-своему, конечно, с юмором. Не то, что свекровь ко мне. Всё возмущалась, что я «не слежу за мужем», а я тогда на трёх работах горбатилась, и, если бы мама не помогала, не знаю, как бы мы вообще выжили. Да и у тебя то же самое…

– Знаешь, а ведь их можно понять. У нас оба дедушки на фронте погибли, а у твоей мамы – старший брат. У моей свекрови тоже…

– Вот они и носятся так, кто с сыновьями, кто с внуками…

– Хоть бы уж мой парень и твой Серёжка женились скорей, а то будут, как наш Димка. Я на любую невестку молиться буду! Вот увидишь.

– Их папашам женитьба не помешала остаться маменькиными сыночками.

– Да, правда, а эти – бабушкины внучки́.

– Нет, эти всё-таки лучше, чем их папаши, – задумчиво говорит Женька.

Одного из «этих», Серёжки, в кухне давно нет. Он побежал дочитывать «Похороните меня за плинтусом» с чувством великой радости, гордости и благодарности: «Наша бабушка лучше!»

Живите долго, Ирина Михайловна!

2007 г.

Сталинские соколы

Светлой памяти наших дедов

1

Мне уж казалось: мы туда никогда не попадём. Задумано было давно, с весны. «Бери своих девчонок, – распорядился Афанасьич, – много не надо, штук пять хватит…» Я не обиделась за «штук». Афанасьич привык считать людей по штукам, по головам. Просто так удобнее. Наш Афанасьич – учитель истории в школе и краевед по совместительству. Андрей Афанасьевич Орлов. А ещё он часто публикует любопытные статейки по истории нашего подмосковного города в местной газете, выступает с лекциями, ездит в Москву на конференции… Круг его интересов обширнейший. А уж гулять с Андрюшей по Москве – пиршество духа! Как-то в метро «Кропоткинская» меня остановила женщина с вопросом, как пройти к дому Толстого: «Нет, не тот, что музей, а дом что вообще-то и не Толстого, а принадлежал одному князю, но Толстой там тоже бывал, а потом…» Я сказала гордо:

– Мой друг вам сейчас всё объяснит.

Могла бы добавить: «Догонит и ещё раз объяснит, а заодно расскажет ещё столько такого, чего вы нигде не узнаете…»

Андрюша в это время прощался у вагона с коллегой-краеведом.

– Дом, где бывал Толстой? – деловито переспросил Афанасьич, нисколько не удивившись, точно он заранее условился о встрече с этой женщиной, чтобы провести экскурсию по толстовским местам. И объяснил, и добавил, и уж собрался идти с ней, но я его утащила – мы опаздывали. Когда это было? А, ну как же! В конце мая два года назад. Мне Андрюша тогда такой роскошный подарок сделал на день рождения. Пригласил в Институт философии на конференцию, посвящённую Розанову. Он и сам там с докладом выступал. О дружбе и переписке Василия Васильевича с новгородским священником Устьинским.

– Теперь можно сказать, что Розанов – это наше всё, – говорил, закрывая конференцию, директор Института.

А когда я встретила Афанасьича этой весной, он несся огромными шагами по улице и сердито размахивал туго набитым портфелем. Там у него ученические тетрадки, книги, рукописи… За Афанасьичем поспешали два юноши и тянули нарочито противными голосами: «Ну-у, Андре-ей Афана-асьевич…» Увидев меня, Андрей Афанасьевич круто затормозил и дал юношам отмашку свободной рукой. Те застыли в почтительном отдалении.

– Андрюша, отпустил бы парней… А что они такого сделали? Они больше не будут…

– Ты ещё меня поучи! – грозно закричал Афанасьич. – Это вот из-за таких как ты, из-за таких вот как ты мамаш, эти оболтусы…

«Оболтусы» рассматривали меня смеющимися глазами. Они обожают Афанасьича, особенно мальчишки. Он ведь не только историю, но ещё и физкультуру у ребят ведёт и в лагеря их возит на все каникулы, а летом – в археологические экспедиции. Ребята зовут его «Чёрный Медведь». Действительно, похож: огромный, чернобородый, с мохнатыми бровями, и из этой буйной чёрной растительности выглядывает крупный нос «картошкой». Одет Афанасьич, как правило, в чёрную куртку, чёрные брюки и свитер, и только на начинающей лысеть голове синяя кепочка.

Тогда-то, весной, Андрюша и выдвинул эту идею: сходить как-нибудь на Введенское кладбище. Осенью, где-нибудь в сентябре, чтоб не жарко было, и главное – чтобы не в дождь, в дождь на кладбище делать нечего. А я бы и в дождь не отказалась – так люблю кладбища.

В последнее время всякие умники с многозначительным видом цитируют письмо Чехова о том, что он, Антон Павлович, приезжая в незнакомый город, первым делом шёл на кладбище и в публичный дом. А что – и правильно! Самый верный и быстрый способ познакомиться с городом. Насчёт публичных домов я, конечно, не скажу, не была… Спрашивала на сей счёт Афанасьича, он лукаво улыбался, но с ответом тоже затруднился. Зато горячо одобрил мою симпатию к кладбищам. Наверное, это у меня с детства…

– А у нас всё с детства, – подтверждает Андрюша.

С самого раннего детства мама водила меня на ялтинское кладбище, сначала к дедушке, а потом и к бабушке. Это была чудесная прогулка. Всегда, в любое время года. Чуткой ли, сухой осенью, тёплой ли крымской зимой или размашистой южной весной, которая всегда накатывала внезапно, неудержимо и сразу становилась не отличимой от лета. А летом кладбище походило на джунгли – буйно и непроходимо разрастались кусты, хмель оплетал кресты и кладбищенские оградки, легко и не больно, будто заигрывающий котёнок, кололась ежевика на узкой каменистой тропке, по которой мы спускались к речке со стеклянными банками, чтобы набрать воды для цветов. Я смотрела на указатель в кипарисовой аллее «К Чеховым». Будто в гости, к живым. И действительно, ведь дом Чеховых, «Белая дача», – здесь же, неподалёку.

На ялтинском кладбище смерти не было. А были наши родственники и друзья, которые не ушли, не исчезли, а просто переселились чуть подальше, на край города. Для того, быть может, чтобы мы могли ходить к ним в гости, красить оградки голубой или серебряной краской, вырывать колючие стебли сорняков, рыхлить землю на могилках и сажать фиолетовые ирисы. Мама знала многих лежащих за серебряными оградками. Кто лежал под гранитными памятниками, кто – под крестами, украшенными пластмассовыми цветами, кто-то – под жестяными коническими пирамидками, увенчанными пятиконечными звёздами, а некоторые – и под крестом, и под звездой сразу. Мы не видели в этом противоречия.

Самый замечательный памятник был недалеко от могилы бабушки: серая глыба крымского диорита и вырастающий из неё торс и голова горбоносого старика в старинной плоской профессорской шапочке. На глыбе фамилия – Егоров, даты жизни и подпись «От виноделов страны».

– Наш учитель, – говорила мама, глаза её увлажнялись.

– Какая жизнь! – думала я. – Какую же высокую жизнь надо было прожить, чтобы получить в награду простые и прекрасные слова – «От виноделов страны».

А страна-то, страна тогда была огромной, беспредельной в пространстве, нескончаемой во времени. Конечно же, были у винодела Егорова и другие, многие награды при жизни, может быть, даже Сталинская или, как её стыдливо стали именовать впоследствии, Государственная премия. Но эта последняя награда в виде короткой надписи на памятнике из них главнейшая. Так думалось мне и в десять, и в семнадцать лет. Так я думаю и сейчас.

– Да, – с восторгом подхватывает Андрюша, – я давно хочу написать одно исследование о мемориалах, о кладбищах, о нашей памяти… О том, что всё это не им нужно, а нам, прежде всего нам! Ты мне поможешь? Я хочу начать с Чехова. Подберёшь мне все рассказы, где Чехов упоминает о кладбищах?

– Подберу, – обещаю я и тут же припоминаю, что у Чехова о кладбищах вроде не так уж и много… О публичных домах, впрочем, и того меньше. Печально-ироничный рассказ «Ворона», сильный и страшный рассказ «Припадок». Кажется, всё?

– Но стоило вообще не вылезать из этих домов, чтобы написать только один такой рассказ. Правда, Андрюша?

Афанасьич согласно кивает и опять лукаво улыбается.

А о кладбищах? Так, о пьянице-актёре, о старом архитекторе, очень смешной рассказ о том, как записной кладбищенский оратор в своей речи похоронил живого человека и… всё? Ах, ну как же! Как я могла забыть: в моей с детства любимой повести «Степь» мальчик

Егорушка едет учиться из родного города мимо кладбища, где *«за оградой под вишнями день и ночь спали Егорушкин отец и бабушка Зинаида Даниловна…»*

2

Итак, я пытаюсь собрать «штук пять девчонок», моих пятидесятилетних подруг, на экскурсию по Введенскому кладбищу. Надо мной смеются:

– На кладбище? С Афанасьичем? Тебе не кажется, что рановато? Нет уж, меня уволь…

Прошёл золотистый сентябрь, чуть-чуть подождило в октябре, редко и тепло, как в тетрадке в косую клетку. В начале ноября по утрам стало подмораживать, траву заметало жемчужным инеем, а на крыше котельной, на которую я каждое утро смотрю из окна своей кухни, казалось, рассыпали крупную соль. Афанасьич уже не помышлял о дожде, говорил: «Как бы снег не выпал, под снегом ничего не увидим». Нашёл о чём беспокоиться – о снеге! Снега не будет, не надейся, в прошлом году – я точно запомнила – первый снег выпал на Татьянин день, двадцать пятого января.

Меня смущала не погода, а отсутствие желающих поехать на экскурсию, потому что внимать Афанасьичу мне одной представлялось непозволительной роскошью. Это, во-первых. А во-вторых, и это главное, не хотелось оказаться единственной ученицей в классе. Я плохо запоминаю даты, фамилии, кто там кем кому приходился. Мне важен общий настрой, впечатление, облик прошлого, дыхание его, да, живое дыхание прошлого. А именно его ох как трудно будет уловить, когда Афанасьич со свойственным ему темпераментом начнёт забрасывать меня именами, фактами, да ещё без конца требовать подтверждения:

– Запомнила фамилию? Повтори. К этой интересной судьбе мы ещё вернёмся.

Нет, нам определённо нужен кто-то ещё!

Подруга Наташа согласилась. Было десятое ноября, воскресенье. Утро морозное, но сухое, безветренное. Афанасьич приветствовал Наташу строго: «А где твои?» Он учил обоих Наташиных мальчишек.

– Да что ты, Андрей! Разве их от компьютера оттащишь!

– Ладно. Поехали.

Метро «Щёлковская». Автовокзал.

– Бутерброды взяли? – Афанасьич тревожно оглядывает наши, по-видимому, подозрительно тощие сумочки.

– Я печенье взяла, шоколадку… – бормочет Наташка.

– А бутерброды?! – возмущается Афанасьич.

– Андрюша, давай лучше в кафе зайдём, холодно ведь, – пытаюсь успокоить я.

– Какое кафе?! Там дорого!

– А мы недорогое найдём, типа «Пирожковой…»

Я вдруг явственно вижу ялтинскую улицу Кирова, она же посёлок Чехова или Аутка, по которой мы с мамой возвращаемся с кладбища в такой же сухой, тихий, чуть морозный день. Лет сорок назад. Только это, конечно же, не осень, а, пожалуй, январь. Самое холодное время года – градусов пять, а то и десять тепла, но кажется, что кто-то невидимый, затаившийся в синевато-серых горах, накинул на город тончайшую ледяную сеть. Наверное, выходной. Суббота или воскресенье. По обеим сторонам пустой узкой улочки вывески: «Пирожковая», «Пельменная», «Бутербродная», «Рюмочная», «Сосисочная» и даже «Котлетная». У дверей «Сосисочной» стоит, покачиваясь и держась за стену дома, сизоносый дед. Разные по форме и размеру серые крымские камни, из которых у нас сложены все дореволюционные дома, скреплены выпуклыми, более тёмными полосками раствора. За такую полоску дед и придерживается – очень аккуратно, двумя пальцами.

– Дедушка уже накушался сосисок, – весело комментирует мама.

За немытыми стёклами «Сосисочной» ни души, только у кассы во весь золотозубый рот зевает толстая кассирша. И на улице, кроме нас и деда, никого. Проезжает со стуком пустой автобус, «восьмёрка…»

– Там никаких кафе нет, – выводит меня из оцепенения Андрюшин голос, – и некогда нам будет искать, а есть захотите. Я, между прочим, позаботился!

Афанасьич бьёт себя кулаком в грудь. В нагрудном кармане его чёрной куртки внушительно булькает.

– Сейчас, – решаю я. – С колбасой будете?

– Покупать на вокзале?! – ахает Наташка. – Разве можно?

– А что такого? Не бойся, не отравитесь, я часто там ем. Ну, с сыром тебе возьму…

Афанасьич успокаивается и в метро рассказывает, что идти придётся от «Семёновской», потому что «Электрозаводская» закрыта. Раньше он довольно быстро шёл до кладбища дворами, а теперь «все эти жлобы понаставили заборов, возможно, придётся обходить», он ещё не знает как.

У выхода из «Семёновской» Афанасьич тщательно фотографирует памятник Гвардейцу Семёновского полка. Спина доблестного петровского солдата отражается вместе с облаками в безукоризненно синем, зеркальном стекле современного здания под названием «Соколиная гора». Снаружи-то красиво, а что за дела творятся внутри этого «бизнес-центра» – неведомо. И я опять вспоминаю пыльные ялтинские окна шестидесятых, семидесятых годов. Сквозь них, несмотря на пыль, всегда было видно всё и вся. Скрывать было нечего. Честная, открытая и потому царственная бедность.

Впервые за тридцать лет я иду совершенно пустой Москвой. У проходной завода – киоск с пивом и пьяненький милиционер. Мы с Наташей покупаем пластмассовые стаканчики. «Молодцы дамочки!» – одобряет наши действия страж порядка. Оказывается, сегодня День милиции.

Обогнавший нас Афанасьич сворачивает во двор большого сталинского дома. Заборов пока нет, только бесчисленные гаражи-«ракушки». На них и на землю неслышно планируют жёлтые кленовые листья и передвигаются по ребристым крышам и асфальту со слабым шуршанием. Под аркой подворотни, в которую только что свернул Афанасьич, старик торгует всякой всячиной, разложенной на газете: старые замки, железки, провода, сушёная вобла, банка огурцов… И цветы – мелкие, сиреневые, с жёлтыми серединками.

– Наташа, это астры такие?

– Не знаю, наверно. Самые кладбищенские цветочки…

– Да, многолетние астры, «сентябринки» называются. Возьмёте? – спрашивает старик.

– Конечно, возьмём. И будем класть по цветочку на могилы.

– У тебя там знакомые? – удивляется Наташа.

– И у тебя тоже. Поэт Дмитрий Кедрин, например, потом Васнецовы, Пришвин… Забыла? Афанасьич же предупреждал.

Пока мы покупали «сентябринки», Афанасьич успел далеко уйти. Он очень быстро ходит, хотя вроде бы вразвалку, по-медвежьи. Его чёрная куртка размахивает рукавами на фоне пронзительно жёлтых клёнов. За Андрюшей гонится свора собак и вдруг круто поворачивает и с лаем мчит прямо на меня.

– Эй, друзья, вы чего?

«Друзья» требовательно гавкают.

– Это они бутерброды учуяли, – догадывается Наташа.

– Ну нет, уважаемые, нам ещё Афанасьича кормить.

Мы ускоряем шаг. Тянет дымком от тлеющих листьев. Люблю этот запах. Запах московской осени. Афанасьич великодушно останавливается, поджидая нас.

– Как же мне нравятся сталинские дома! – говорит он, взмахивая обеими руками, отчего в его нагрудном кармане опять булькает. – Какая архитектура! Какое время! Ведь это… царская эпоха! Я – сталинист!

– Ты же говорил, что ты монархист, – напоминает Наташа.

– Да, и монархист! А в чём тут противоречие? Одно другому не мешает! – взрывается Афанасьич. – Ты бы в свой чёртов ящик поменьше пялилась, вам там мозги-то прокомпостируют…

– А вы так и живёте без телевизора? – спрашиваю я. – Татьяна твоя не скучает?

Татьяна, жена Андрея, учительница русского и литературы, недавно вышла на пенсию.

– Ещё чего – телевизор! – кипит Афанасьич. – Чтоб этот ваш, как его, Сванидзе, ещё истории меня учил! Они будут учить меня истории моей страны! Татьяна – молодец, это благодаря ей как раз, если бы не она, я соблазнился бы, чего доброго, на гадость какую-нибудь…

– Да уж ты бы соблазнился, – хмыкает Наташа.

– Да я – монархист и сталинист! – опять вопит, разворачиваясь к ней, Афанасьич. – Это вот из-за таких как ты куриц мы и попали в это дерьмо, в жлобство это! Двадцать лет сидим все в заднице, народ скурвился…

– Знаешь что, Андрей, – Наташка делает вид, что обиделась, – тебе никто не давал права меня оскорблять…

– А я согласна с Андрюшей, – говорю я. – Та эпоха была действительно великой, царской, лучше не скажешь.

– Вот именно, – оживляется Афанасьич. – Ты не сердись, Наташка, я ведь любя… Да, царская эпоха в том смысле, что каждый рабочий на этом заводе, каждый дворник вот в этом дворе чувствовал себя человеком, царём! И дело своё исполнял по-царски, с достоинством. Ведь в этих домах великолепных с колоннами, с лепниной жили простые люди. Конечно, годами стояли в очередях на жильё, но получали же, квартплата – копейки… Работа у всех была, никто не голодал, путёвки летом бесплатные в Сочи, в Ялту твою…

3

У меня перед глазами опять встаёт ялтинская зима. Или осень. По сравнению с летом почти ничего не изменилось – всё вокруг вечнозелёное. Только кипарисы сильнее, рыжée золотятся на солнце, да воздух глубже, синée, насыщеннее. Мы с мамой на улице Санаторной, во дворе санатория «Энергетик». Тихая Санаторная – одна из двух моих любимых ялтинских улиц. Вторую улицу, Морскую, я полюбила за то, что она напоминала мне Италию, никогда не виданную Геную. Мне было десять лет, я прочитала «Сказки об Италии» Горького. Братом, родным братом, был мне нищий итальянский мальчик, склонившийся с обросшего водорослями круглого, горячего камня в прозрачную сине-зелёную морскую воду – всю в солнечных бликах, как рыба в золотой чешуе… «О, sole mio!..» И дедом был мне старый столяр Джузеппе, говоривший: «Наши дети будут лучше нас, и жить им будет лучше». «Очень многие верят ему», – написал Горький. Я не просто верила – для меня это было непреложным законом жизни. К ним, родным и любимым итальянцам, я приходила на Морскую, в которую упирается одним концом моя улица Чехова. Стоило повернуть за угол – и слепит глаза морская синь, над ней сияет почти такое же, только чуть посветлей, синее небо, и чайкой зависает меж морем и небом строительный кран в порту и соперничает с солнцем своим оранжевым, апельсинным цветом. А Санаторная, переименованная потом в улицу Пальмиро Тольятти в честь итальянского коммуниста – снова Италия! – с другого конца моей Чеховки, только Боткинскую перейти. И я почти не удивилась, когда прочитала, что молодой Горький снимал комнату в начале улицы Виноградной, теперь моей улице Чехова.

А на Санаторной улице, в тихом дворе «Энергетика», около хозяйственных служб – котлы, баки, бидоны, газовые баллоны – мама вступала в дружески-деловые отношения с Николаем Иванычем, садовником санатория. Он был ростом с меня, десятилетнюю, худенький старичок с глазами-щёлочками, редкими седыми волосёнками на голове, похожей на сморщенную грушу. Из середины подбородка свисало несколько таких же тонких седых волосков. Кажется, Николай Иванович не брился – нечего было брить. Мама приходила к нему консультироваться по поводу растений – в педучилище она вела предмет под названием «Основы сельского хозяйства» и отвечала за озеленение территории. Всё время разговора Николай Иваныч озабоченно скрёб цапкой сухую землю, то и дело, зорко взглянув «щёлочками», отбегал сорвать засохший листок…

– Николай Иваныч, здесь-то, на хоздворе зачем так тщательно? – спросила мама. – От вас ведь не требуют…

– Что вы, Ольга Михайловна! Разве можно?! Здесь тоже могут пройти отдыхающие!

Николай Иванович и был царём той самой ушедшей царской эпохи, о которой сейчас кричит Андрюшка.

– Николай Иванович – эвенк, – рассказывала мама. – Нет, кажется, не эвенк, а из каких-то совсем малочисленных сибирских народов… Закончил лесной техникум, занимался своей тайгой в глухом сибирском краю, получил путёвку в наш «Энергетик».

– У него был туберкулёз?

– Нет, зачем же? Это до войны «Энергетик» был туберкулёзным санаторием, может быть, ещё в конце сороковых… А потом весь туберкулёз вывели, ялтинские санатории перепрофилировали: органы движения, нервная система, почки… Николай Иванович приехал в середине пятидесятых. И влюбился в медсестру! Женился, но не везти же ялтинскую женщину в тайгу. Вот и остался здесь садовником, по специальности…

…И растил вечнозелёные кустарники – самшит, бересклет, заботливо подрезал дерзкие, вызывающе благоуханные розы, обкапывал олеандры с махровыми цветами, будто свёрнутыми из белой и розовой папиросной бумаги, поливал из шланга клумбы, благоговейно сдувал каждую пылинку с дорожек парка: «Здесь могут пройти отдыхающие!»

А Афанасьич продолжает шуметь, широко шагая, загребая на ходу здоровенными, длинными ручищами:

– Каждый человек, ты понимаешь, каждый, чувствовал себя царём! По-царски отвечал за своё дело! Потому что была ответственность! Пусть «винтик», да! Но каждый осознавал, что без него, без этого винтика всё развалится…

– Андрей, а репрессии? – вставляет Наташка, делая умное лицо.

– Конечно, были, всё было, и кровь, и несправедливость – кто ж отрицает? У меня самого деда раскулачили и дядю… Сослали в Казахстан, а ведь могли и шлёпнуть. Только знаешь, я сильно подозреваю, что на девяносто процентов, если не больше, во всём этом виноваты жлобы, которые до сих пор не перевелись, повылезали теперь из всех щелей… Завидовали, стучали, доносили, подсиживали, чтоб тёплое местечко занять… Что, скажешь, Иосиф Виссарионыч лично всё подписывал? Да даже если бы лично! Не нам, просравшим великую страну, судить людей, которые из крови, из грязи эту страну подняли, из руин, из ничего, из небытия!.. Победить в такой войне! Мы же против всего мира в одиночку воевали… И теперь нашу великую войну эти манкурты смеют «второй мировой» называть? Мы что поляки, румыны? Для нас она Великая Отечественная! Навсегда!

– Хорошо, хорошо, только не надо так кричать…

Кричать как раз можно – на улице никого. Пахнет дымом и, неслышно кружа, с самых нижних ветвей опускаются на землю кленовые листья. Уже последние – все верхушки давно облетели. Торжественная и неспешная московская осень.

Такой же поздней осенью сорок лет назад мы с родителями смотрели в ялтинском кинотеатре фильм «Освобождение». Я теперь помню только, что Жукова там играл Михаил Ульянов. Но навсегда врезалось в память происходившее не на экране, а в зале. Через несколько рядов от нас сидела компания немолодых людей – пять-шесть мужчин, две или три женщины. Фронтовики. Наверное, был праздник, седьмое ноября, потому что все мужчины были с орденами и медалями на пиджаках, а женщины – с аккуратными орденскими планками на нарядных, модных тогда кримпленовых платьях. Конечно, они только мне казались немолодыми. А на самом деле каждому из них тогда, в семидесятом, должно быть, было не больше пятидесяти. Всякий раз, когда на экране появлялся Сталин, они аплодировали. Все в зале посматривали на них одобрительно, а некоторые, как мне показалось, даже с лёгкой и доброй завистью. Я видела, что моим родителям тоже хочется присоединиться к коротким и дружным, как салют, хлопкам. Но они этого не делали. «Считают себя не вправе, – догадалась я, – потому что не воевали, они были во время войны подростками». Папа, потерявший отца, скитался под непрерывными бомбёжками в Сталинградской области, а мама оставалась в оккупированной Ялте. Люди в кинотеатре, бывшие на пять-шесть лет старше моих родителей, аплодировали своей боевой молодости, памяти погибших товарищей, великому подвигу своей страны – и олицетворял всё это не Георгий Жуков, а почему-то именно Сталин. Впрочем, и тогда, и позднее у меня не возникало вопроса «почему». Нас правильно учили истории: и в учебниках всё было написано, и учителя рассказывали: о сталинских репрессиях, о предательстве Власова, о хрущёвском волюнтаризме, но спокойно, сдержанно, с достоинством, без истерики и проклятий.

4

Внезапно в глаза бьёт яркий свет. Это утреннее солнце вывернулось из-за остроконечной кирпичной ограды. Мы пришли. К воротам Введенского кладбища примыкает двухэтажное, выкрашенное в розовый цвет здание с высоким цоколем и такими же, что и на воротах, готическими башенками на крыше.

– Андрюша, а когда это построено? – вопрошает Наталья.

– А ты не видишь? Псевдоготика с элементами модерна, значит, начало двадцатого века… Вот же он, удар хлыста! – Афанасьич указывает на линию, повторяющуюся в чугунном узоре ворот. – Впрочем, я не искусствовед…

Действительно, «удар хлыста» – плавные волнообразные линии неожиданно заканчиваются как удар, точным и хлёстким завитком.

– Ой, правда, тысяча девятьсот седьмой год, – радуется Наташка, указывая на висящую на доме мемориальную доску.

А внутри, за воротами – и вовсе чудеса! Я никогда не видела такого крыльца – к «псевдоготическому» дому прилеплен вход в сказочный русский терем. Такой мог бы красоваться на острове Буяне, например. Каменные перила – как удар хлыста или морской волны, с размаху влепляющей в берег свою удальски закрученную пенную завитушку, а линия под лестницей так выгнута, что кажется, крылечко заваливается или наоборот, торопливо забегает вперёд, или едет как печь с Емелей. А над крыльцом высится готическая башенка – печная труба!

– Ну, хватит, полюбовались, – торопит Афанасьич, – всё это, конечно, прекрасно, но мы здесь не за этим.

– А зачем же?

Оказывается, надо отыскать могилу Алексеевых, родителей Константина Сергеевича Станиславского. Их захоронение в числе многих других было перенесено из центра Москвы на это первоначально немецкое, протестантское кладбище.

– Выберите себе по дорожке, идите и внимательно смотрите, увидите что-нибудь интересное – кричите. И всё нас интересующее фотографируйте, – распоряжается Андрей.

– А что нас интересует?

– Многое, – отмахивается Афанасьич, – потом расскажу. Экскурсия потом.

Мы бредём по узким дорожкам. Одно из двух – либо я давно не была на природе, либо здесь, на кладбище особый климат. Над нами совершенно голые ветви деревьев, а под ногами палитра красок. Ну, положим, опавшие листья всех цветов и оттенков на дорожках и могилах – это понятно. Палевые, бронзовые, ржавые, золотые, лимонные и яично-жёлтые, красные, розовые, багряные, почти фиолетовые. А вот откуда столько яркой и сочной зелени? Широкие тёмно-зелёные листья неизвестного мне растения, округлые листочки декоративных кустарников салатового цвета, мелкие и густые иголочки какой-то красивой, тоже явно декоративной травы, из тех, которыми украшают букеты, да и обычная трава ещё зелена и свежа. И такой мягкий, нежно-зелёный мох у подножия памятника «генералъ-маіору Владимиру Ивановичу Ромеру полковнику лейб-гвардіи Уланскаго ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА полка…» А внизу, над изумрудной полоской мха эта же надпись повторяется по-французски: «Géneral VLADIMIR de RÖMER…»

– Смотрите, – зовёт Наташа со своей дорожки.

Большой гранитный памятник, круглое углубление для фотографии, к сожалению, пусто, а вот надпись, как и на памятнике генералу Ромеру, будто вчера выбита и закрашена сусальным золотом:

Аптекарь
Иванъ Ивановичъ Келлеръ
Почетный членъ Московскаго фармацевтическаго общества
Скончался 7 Января 1901 г. на 63 г. жизни.

– А, Иван Иванович, – приветливо говорит Афанасьич, – у него аптека на Мясницкой была. Завещал десять тысяч на учреждение четырех стипендий для аптекарских помощников, тогда это колоссальные деньги были.

– И откуда ты всё знаешь? – изумляется Наташа. – А я-то сначала подумала, что Аптекарь – это фамилия.

– Да, не часто профессию перед фамилией указывают, наверно, он очень гордился своим аптекарским званием.

– А что, Андрюша, ведь это правильно? Написать бы на твоём памятнике – Учитель, а? Лет через пятьдесят, конечно, не раньше, тьфу-тьфу-тьфу! – Наташка плюет через левое плечо и тут же мелко крестится.

– Неправильно, – насупливается Афанасьич.

– Почему это?

– Потому что все будут думать, что Учитель – это фамилия такая. Режиссёра этого, который про Бунина порнуху снял…

– Ты же не смотришь телевизор!

– А я и не видел. Татьяна жаловалась, говорит, про Бунина детям невозможно стало рассказывать, ржут, хихикают…

– Ну, знаешь, это ещё продвинутые дети, если такие фильмы смотрят, хуже, когда всё «до фени», – вмешиваюсь я. – И потом, если это и порнография, то не непосредственная, а духовная, что ли… А вообще-то интересно, завлекательно, артисты хорошие, все так похожи, и вроде всё правда. Дуня Смирнова – сценарист, кажется, ничего не переврала, всё точно по дневникам жены Бунина, Веры Николаевны…

– А духовная порнуха что – лучше по-твоему? Ещё хуже! Не-про-сти-тельнее! – отчеканивает Андрей. – Самую скверную правду можно и нужно рассказывать, но любую грязь настоящий художник опишет так целомудренно, что и детям не стыдно показать. Вот мы тут с

Таней Гайто Газданова читали, это эмигрантский писатель, ровесник Набокова, Гайто – потому что осетин, но он любил, чтоб его Георгием Иванычем звали…

Андрей поворачивается ко мне, берёт меня за пуговицу куртки и начинает втолковывать, как на уроке:

– Вообще, удивительная судьба, уди-ви-тельная! Он мальчишкой пятнадцатилетним на фронт ушёл, за «белых» воевал, а всю вторую войну – во французском Сопротивлении. У него роман есть «Ночные дороги», он ведь почти всю жизнь ночным таксистом в Париже проработал. Роман о самом дне парижском, про бандюг всяких, пьяниц, проституток, а посвящён его жене! И это настолько чисто… Нет, ты лучше сама почитай, это тебе не «Лолита» какая-нибудь! Ведь чем талантливее описана мерзость, тем отвратительнее, потому что зло этим как бы оправдывается, получает право на существование… Да ладно, ну их, этих порнографов! Ищем Алексеевых.

Вместо Алексеевых я сразу натыкаюсь на необычный памятник – в овале фотография целого семейства. Папа, мама и восемь детей – два юноши в строгих костюмах при галстуках, три девочки в одинаковых костюмчиках с матросскими воротниками, девочка помладше – в светлом платьице с бантом, и ещё два совсем маленьких ребёнка – не поймёшь, какого пола. Хотя если вглядеться внимательнее, видно, что ребёнок постарше – девочка, а самый младший, очень серьёзный, сидящий на коленях у папы – мальчик. За спиной семейства – большая картина, такими в начале века принято было украшать фотоателье. Над головами старших сыновей клубятся по небу, стелятся по самой земле тёмные тучи, как предчувствие будущих гроз и пожарищ. Под фотографией фамилия – Бенюш. И всё. Несомненно, что эту фотографию уже в недавние времена поместили на памятник родственники, скорее всего, внуки этих девочек. А братья… Вряд ли они успели жениться, вряд ли пережили войны и революции… Написать бы о каждом, о каждой судьбе… У памятника семье Бенюш – ворох бронзовых дубовых листьев и свернувшийся кольцом стебель растущего здесь папоротника с длинными зелёными листьями.

И ещё примечательный памятник. На граните выбит крест, в овале фотография – Ли-Чу Феоктиста Филипповна и Иван Иванович. Оба супруга родились в конце девятнадцатого века и дожили до середины восьмидесятых годов века двадцатого. Немного дородная, несмотря на молодость, Феоктиста Филипповна в белой блузке с отложным воротником могла бы быть дочкой кустодиевской купчихи: спокойный ясный взгляд, широкое русское лицо, но уже короткая стрижка – двадцатые годы. А Иван Иванович Ли-Чу – бравый парень и немножко франт, в чёрной рубашке с белым галстуком, стоит за спиной жены, молодецки подбоченясь. А на памятнике рядом – другая китайская фамилия, русские имена-отчества и православный крест. Кто это из пугающих нас китайской экспансией заявляет, что китайцы якобы никогда не ассимилируются, везде остаются китайцами? Ерунда! Впрочем, пусть остаются кем хотят, лишь бы на нашем языке хорошо говорили и любили его, и тогда… Тогда всё хорошо будет.

Я вновь стою перед семейным памятником. «Тельповы» – выбито посередине высокой гранитной плиты. Надежда Герасимовна и Алексей Иванович тысяча девятьсот третьего года рождения, Виктор, родившийся в двадцать шестом году… Отчества Виктора и даты его смерти не видно – закрывают свешивающиеся с верха плиты пластмассовые ромашки. Всего же на памятнике четыре бронзовых барельефа и две фотографии. Чуть скуластые, похожие друг на друга, простые и мужественные лица – моряк в бескозырке с пятиконечной звездой, парень в бушлате с белым меховым воротником и в будёновке. На будёновке, разумеется, тоже звезда. И большой крест в центре, осеняющий, благословляющий и этих людей, и эти звёзды, и надпись: «Мы всегда помним вас, погибшие воины». А внизу, у подножия памятника – живые, свежие бело-розовые георгины. Значит, дети или внуки Тельповых только что здесь были. Как это здорово! Я кладу рядом с георгинами несколько сиреневых «сентябринок» – от нас.

– Девчонки, идите сюда! – зовёт Андрей.

Мы пробираемся меж огромных мраморных ваз и скорбящих дев со склонёнными головами. Афанасьич стоит у памятника лётчику. К самолётному пропеллеру с красными лопастями привинчена доска: «Букин Александр Макарович 1892–1934». И фотография – открытое молодое лицо, весёлые смелые глаза. Я некстати вспоминаю дурацкий телевизионный сериал про семейку Букиных и пугаюсь, что ещё, не дай Бог, Наташка ляпнет, расстроит Афанасьича. Хватит уж нам на сегодня «Дуниного Бунина»! Но Наташа, видно, заподозрила то же самое в отношении меня, потому что она ловит мой взгляд и тихонько покачивает головой, незаметно поднося указательный палец к губам.

– Вот они, сталинские соколы! – говорит Афанасьич нежно и в то же время торжественно и твёрдо. – Как же я их люблю!

– Да, дедушки наши, – вздыхает Наташа.

– А у тебя что, дед лётчиком был?

– Нет, один в пехоте погиб, а другой в танке сгорел под Сталинградом, но всё равно…

– Конечно, всё равно! – с горячностью говорит Андрюша. – Они все соколы, деды наши! Как же мы виноваты перед ними…

5

Мой дед Анатолий Сергеевич Яблонский тоже погиб под Сталинградом, хотя не успел попасть ни в пехоту, ни в другие войска. Деда долго не брали на фронт, потому что он был едва ли не единственным медиком в станице – фельдшером и заведующим аптекой. А он, разумеется, рвался воевать, как и все тогда, стар и млад. Когда наконец пришла долгожданная повестка и вся семья сидела за прощальной трапезой, началась бомбёжка… Шестьдесят семь лет назад фашистский стервятник в одно страшное мгновение отнял у меня и деда, и дядю. Моему дяде, Леониду Яблонскому, было девять лет. Боюсь, их могил уже не отыскать в степи между Доном, Хопром и Волгой. Земля моих предков и сегодня искорёжена воронками, изуродована тоннами расплавленного металла, до сих пор – в незаживающих ранах войны…

И, конечно же, настоящим сталинским соколом был дядя моей мамы Всеволод Никитич Громачевский. Нет, он не был лётчиком, более того, ему, как и деду Анатолию, не довелось воевать ни одного дня. И всё-таки он именно сталинский сокол. Мой двоюродный дед – знаменитый селекционер и гордость Кубани, но сведения о нём в Интернете оказались неточными. Там очень подробно описаны выведенные им сорта высокоурожайной озимой пшеницы и несравненного зимостойкого ячменя. Сообщается, что Громачевский был удостоен какой-то «малой золотой медали» в сороковом году, потом были ещё ордена и медали, а в сорок восьмом ему было «присуждено звание лауреата Государственной премии». Это весьма странно, потому что по воспоминаниям академика В.М. Шевцова с присуждением Государственной премии Всеволода Никитича поздравил телеграммой сам Николай Иванович Вавилов, с которым мой дед дружил. Но как мог арестованный в августе сорокового и погибший в сорок третьем году Вавилов поздравлять деда в сорок восьмом? Да и мама рассказывала, что «Сталинскую премию дядя Всеволод получил перед самой войной…»

– Да всё понятно с твоим дедом, – нетерпеливо перебивает Афанасьич. – Сталинская премия была учреждена в декабре тридцать девятого в ознаменование шестидесятилетия Сталина. А при Хрущёве дипломы и знаки Сталинских премий разных степеней заменяли дипломами и почётными знаками лауреата Государственной премии СССР. Само название Сталинской премии заменяли на Государственную, информацию о ней и её лауреатах выдавали дозировано, мистифицировали всячески… Конечно, он в сороковом году её получил! А в сорок восьмом или какую-нибудь другую премию дали, или ту, сорокового года, подтвердили дипломом. В этом разбираться надо… Кстати, деньги на Сталинские премии брались из гонораров Сталина

от издания его книг, а вовсе не выделялись из государственных средств, так что никакая она не Государственная.

– Тогда я вам расскажу со слов мамы, а не так, как в Интернете, там же официальная биография, в конце пятидесятых написана. И тоже, кстати, много неверного. Например, там пишут, что дед «был четвёртым, самым младшим ребёнком в семье сельского священника», а на самом деле, и это я точно знаю, даже фотографии сохранились, был ещё пятый ребёнок, Николай, его в начале тридцатых расстреляли как поповича. А он даже образования не успел получить как старшие братья, только гимназию окончил, бабушка рассказывала – самый способный был, знал много языков. Он бухгалтером работал…

– Ну конечно, и какая-то сволочь позарилась на его бухгалтерское место, а теперь всё валят на Сталина – очень удобно. Да, одна надежда на семейные предания. Рассказывай!

Я рассказываю друзьям, что Всеволод Никитич, которому в сорок первом исполнилось пятьдесят, тоже рвался на фронт. Но в военкомате сказали: «Нам важнее накормить хлебом тысячу солдат, чем поставить под ружьё тысячу первого». Тогда дед написал Сталину, просил отправить его на фронт, а премию использовать для нужд обороны. Воевать деда Всеволода всё равно не пустили, и он всю войну проработал на опытной станции, но последняя просьба была уважена. Сталин лично прислал телеграмму, в которой благодарил и сообщал, что на премиальные деньги будет построен самолёт. Так разве мой дед – не сталинский сокол?

– Правда, про самолёт я знаю только со слов мамы. В Интернете об этой телеграмме, конечно, ничего нет.

– А ведь, возможно, именно она спасла твоего деда от посадки, – говорит Наташа. – Могли, могли посадить, он же с Вавиловым дружил.

– Может быть, хотя он и с Лысенко на одном курсе учился в Киевском политехническом институте, на сельскохозяйственном отделении, и работал одно время вместе с ним на опытной станции. Но он не любил его, авантюристом считал, а Вавилова, говорят, боготворил…

Наверное, не стоит хвастаться, что легендарная лётчица Марина Раскова – тоже наша дальняя родственница. Совсем дальняя, как говорила мама, «седьмая вода на киселе». Рассказать хотя бы о моих родных и двоюродных дедах и бабушках, некоторых из которых мне посчастливилось запомнить живыми.

Мои деды и бабушки – старые русские интеллигенты, должно быть, только чудом, промыслом Божьим уцелевшие в революциях и войнах. Вот они смотрят на меня с фотографий пятьдесят пятого года. Я ещё не родилась, ещё не срублена глициния, оплетающая нашу деревянную веранду, и они все ещё живы, сидят на скамеечке у колоннады на набережной или стоят рядком в ялтинском дворе, мимо которого так часто проходил Виноградной улицей Чехов… Два брата – старший Борис и младший Всеволод, две сестры – София и Надежда, и муж Софии – Михаил Иосифович с вислыми седыми усами, в долгополом габардиновом пальто и светлой летней шляпе. Борис Никитич – с аккуратной седой бородкой, в шинели с погонами и блестящими пуговицами, на фуражке – скрещенные молоточки, он служил врачом по железнодорожному ведомству. Всеволод Никитич – самый молодой из них, в кепке на лысой голове, с добродушным простецким лицом колхозного агронома, хотя и доктор наук. Моя темноглазая и чернобровая бабушка Соня, говорят, я похожа на неё. И бабушка Надя – седоватые кудряшки выбиваются из-под берета, в руках элегантный ридикюль. Она статная, высокая, намного выше сестры, вровень с братьями и только на полголовы ниже моего дедушки Миши, совсем уж высоченного по тем временам – метр восемьдесят пять.

И сохранилась маленькая карточка, на обороте почерком Всеволода карандашом: «Войтовка. Пасха 1905 г.». Мой прадед Никита Себастьянович Громачевский, широкобородый поп в светлой праздничной рясе с большим крестом на груди, и его дети. Старший Борис – в студенческой тужурке, приехал на каникулы из Германии, где он учился медицине. Всеволод – будущий лауреат премий, а пока – улыбчивый гимназист. Надя – совсем юная, в белом чепце

на стриженой голове после перенесённого тифа, и чуть постарше – Соня, учительница, и её молодой муж Михаил в офицерских погонах, студент-химик, в будущем – военный инженер.

Помню, как мама сердилась на свою двоюродную сестру, Елену Всеволодовну. В перестройку, когда заговорили о возможном возвращении отнятой в революцию недвижимости, моя тётка Лена вспомнила, что Никите Себастьяновичу принадлежал большой дом в деревне Войтовка Винницкой области: «Может, попробовать вернуть? Мы же наследники!» Это, как сказал бы Афанасьич, «жлобское» предложение вызвало гневный отпор со стороны мамы и дяди Бори, сына Надежды Никитичны.

– Этот дом столько лет Советская власть поддерживала, сохраняла! Он до сих пор людям служит, детям! Там же школа, библиотека, – возмущалась мама. – Какие мы наследники! Позор! И Боря так же считает.

Правда, они вскоре простили сестру:

– Она молодая, легкомысленная…

В начале перестройки тёте Лене было под пятьдесят, как мне сейчас.

– В самом деле, – думаю я, бродя меж могил Введенского кладбища в поисках могилы родителей Станиславского. – Какие мы наследники, то есть мы наследники, конечно, только не домов, а чего-то большего… Мы же не прибалты какие-нибудь, прости господи, которые выгнали из квартиры великую актрису Вию Артмане, потому что объявился прежний владелец.

6

Пожалуй, сталинским соколом, как это ни парадоксально, был и мой родной дед Михаил Иосифович Андреев, мамин отец. Он, как и его супруга София Никитична, происходил из духовного сословия – правнук священника и внук дьякона. Похоже, в роду Андреевых религиозность оскудевала из поколения в поколение: Иосиф Андреев предпочёл должность мелкого чиновника, сопровождал почтовые вагоны по железной дороге, а Михаил Иосифович и вовсе увлекался толстовством. Не сильно, впрочем. Кажется, толстовство моего деда было не более чем данью студенческой моде того времени. Но всё же когда бабушка подавала мясное блюдо, дед Миша со свойственным ему мягким юмором непременно цитировал Овидия:

«Чем провинился ты, вол, предназначенный людям на помощь,
Ты, безответно покорный товарищ и друг хлебопашца?»

Дед родился в Курске в 1881 году, но вскоре его отца перевели служить в Бессарабию. Теперь это называется Приднестровьем: Бендеры, Дубоссары… Семья была большая и, разумеется, небогатая: восемь детей.

– Михайло, утонешь – домой не приходи! – примерно так напутствовали родители старшего сына, с утра убегавшего на быстрый порожистый Днестр.

У бессарабских мальчишек конца девятнадцатого века была опасная забава и отчасти промысел: воровать виноград у богатых молдаван на другом берегу реки. Воришек почти всегда ловили, кажется, поимка даже входила в правила игры, а может, была частью некоего кодекса чести. Если застигнутому парню удавалось переплыть Днестр с тяжёлой кистью винограда в руке так, чтобы на виноград не попало ни капли, хозяева виноградника щедро награждали его вином и отпускали как почётного гостя. Если же кисть оказывалась намокшей, мальчика избивали до смерти. Мой дед переплывал Днестр многократно, был он высоким, сильным и, как это часто бывает, необыкновенно мягким и добрым человеком.

В Кишинёве, в реальном училище, дедушка Миша учился на одном курсе с Григорием Котовским. Правда, Котовского отчислили из реального вскоре после начала учёбы, и дед всю жизнь добродушно посмеивался над легендами, которыми окружали личность его однокурс-

ника в советское время: дед был уверен, что Гришку выгнали за хулиганство и грабежи огородов, а отнюдь не за революционную деятельность. А дед успешно окончил реальное училище, потом школу прапорщиков в Киеве, потом – по настоянию бабушки – Киевский политехнический институт. Специальность – химик-технолог, фаянс, фарфор, черепица. Сохранилась семейная легенда о его дипломной работе – образце черепицы для крыши, заказанной купцом.

– Вот брошу камень, если не расколется, беру, – заявил самодур-заказчик.

Конечно, любая черепица раскололась бы, но камень чудом попал в ребро. С молодым инженером щедро расплатились, были даны лучшие рекомендации. Карьера складывалась удачно: революция застала деда в чине капитана на военном заводе в Саратове. Оттуда они с бабушкой и драпали от большевиков аж до Читы. Шутка ли – капитан царской армии, женат на поповне! Но дед отказался эмигрировать с белочехами, вернулся в Киев, снова работал на химических заводах и каждый день ожидал ареста. В тридцать седьмом, когда пересажали почти всё руководство завода, где дед был главным технологом, они срочно уехали-сбежали в Ялту. Почему в Ялту? Просто именно там в это время жила бабушкина сестра Надежда Никитична с семьёй. У её мужа, который тоже был инженером в Череповце, открылся туберкулёз. Его быстро вылечили, родственники переехали в Симферополь, а наша семья осталась в Ялте. Мой дед, как всегда, работал в нескольких местах: в химической лаборатории, в знаменитом институте виноделия и виноградарства «Магарач», на метеостанции, преподавал химию в техникуме. Последнее обстоятельство, возможно, его и спасло.

Когда началась война, деду было шестьдесят лет. Он, как и все инженеры «из бывших», великолепно говорил по-немецки и поначалу с надеждой воспринял появление в Ялте немцев, тем более в основном это были православные румыны – совсем родные моему деду, выросшему в Бессарабии. Ялтинская интеллигенция была приглашена на собрание в театр Чехова. Дед пошёл и через полчаса вернулся… советским человеком. «Лучше свой супостат, чем чужие!» – заявил он испуганной бабушке. Глупые прямолинейные немцы поздравили «русских свиней» с предоставленной им замечательной возможностью поработать на «великий Рейх».

В течение всей оккупации дед отговаривался от работы «на Рейх» тем, что он якобы не инженер, а учитель. Конечно, никакие отговорки не помогли бы, если б гнать деда на работу приходили не румынские офицеры, а немцы. А румынам Михаил Иосифович по-румынски же рассказывал, как он учился «в Кишинэу» в реальном училище, и умилённый офицер, уходя, пожимал деду руку и советовал быть осторожнее. О том, как осторожен был дедушка Миша в оккупированной Ялте, я узнала случайно, уже будучи взрослой.

Мама много рассказывала мне о войне, о том, как в оккупацию они не умерли с голоду потому, что дедушка ездил по Крыму с тачкой – менял на продукты серебряные ложки и книги, о том, как всех ялтинцев грело и поддерживало присутствие рядом, в Аутке, Марии Павловны, сестры Чехова, о том, что никто ни одной секунды не сомневался в нашей победе… И только о подвиге своего отца почему-то никогда не говорила и только в восемьдесят четвёртом году, познакомив меня со своей приятельницей, нечаянно обмолвилась: «Риту ведь тоже твой дедушка спас…» Тётя Рита, Маргарита Константиновна, бывшая несколькими годами старше мамы, перед войной училась у моего деда в техникуме. Она была еврейкой, одной из тех, кого деду удалось спасти. Подполов и чердаков в центре Ялты не было. Дед шёл к бургомистру – или как там называлась их канцелярия – и подписывал бумагу о том, что он, такой-то, «русский, православный, свидетельствует и ручается», что данное лицо не еврей, а немец, если фамилия была немецкой, или поляк, если фамилия была польской, потому что он, как учитель, хорошо знает эту семью.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.